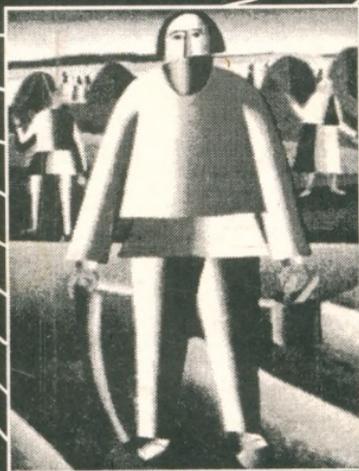


Сергей Королев

ДОНОС В РОССИИ



Сергей Королёв

ДОНОС В РОССИИ

Социально-философские
очерки



Москва
«Прогресс-Мультимедиа»

ББК 60.5
К 68

Составитель и научный редактор —
профессор Е.Я. Виттенберг

Королев С.А.

К 69 **Донос в России: Социально-философские очерки/ Сост. и науч. ред. Е.Я. Виттенберг. — М.: Прогресс-Мультимедиа, 1996. — 240 с.**

К $\frac{0302030000-029}{006(01)-96}$ без объявл.

ББК 60.5

Книга подготовлена в Институте философии РАН по заказу Центра информационно-аналитических программ Российского независимого института социальных и национальных проблем.

**Издание книги финансируется
АО «Интелбридж»**

ISBN 5-01-004619-9

© С.А. Королев, 1996
© «Прогресс-Мультимедиа», 1996

Содержание

ЭССЕ О КОЛБАСЕ	5
ДОРОГА. Движение, пространство и время в России, Америке и СССР	17
1. <i>От океана до океана</i>	
2. <i>«Мертвые души»</i>	
3. <i>«Лолита»</i>	
4. <i>«Москва — Петушки»</i>	
ДОНОС В РОССИИ. Опыт социально- философского исследования	29
1. <i>Донос как феномен повседневности</i>	
2. <i>Совокупление с властью: донос в тоталитарном обществе</i>	
3. <i>Донос в бюрократической системе: фикция властопоклонства</i>	
4. <i>Доносительство как способ пространственного контроля</i>	
5. <i>Человек пишущий: неизбежное зло?</i>	
ДВЕРИ	91
1. <i>Неуязвимые, непроницаемые</i>	
2. <i>Шаги на лестнице</i>	
МОСКОВСКИЕ ПИСЬМА	
<i>Письмо первое</i>	
Сублиманты у власти: заметки о происхождении «политической шизофрении»	109

<i>Письмо второе</i>	
Россия. Конец века. Десублимация общества	125
<i>Письмо третье</i>	
Деррида и Солженицын. Деконструкция	
путешествия	147
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО	
г-ну ЖИРИНОВСКОМУ	160
ТОЧКИ-В-ХАОСЕ. Микрособытие как	
квинтэссенция технологий власти	189
1. <i>Июль 1988 года. Бой тары</i>	
2. <i>Март 1969 — ноябрь 1974 года.</i>	
<i>ОКО власти</i>	
3. <i>Август 1991 года. Была такая партия...</i>	
ВРЕМЯ ВЛАСТИ	207
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР И НАСИЛИЕ	
В РОССИИ	217
Постскриптум	234
<i>Примечания</i>	<i>239</i>

ЭССЕ О КОЛБАСЕ

Юрий Владимирович Андропов, в бытность свою главой известного ведомства, говаривал: «Вот наделаем колбасы, и не будет у нас диссидентов». Очевидно, многолетнее пребывание на Лубянке помогло ему каким-то образом подняться до мысли, что колбаса в России — нечто большее, чем просто мясной продукт, для изготовления которого используются говядина, свинина, реже — баранина, а также кровь убойных животных и некоторое количество нитрата натрия, дабы продукт сохранял столь любимый в нашем отечестве красный, праздничный цвет. Подобно тому, как поэт в России — больше, чем поэт, колбаса здесь — больше, чем колбаса, она занимает совершенно особенное место в менталитете, мировосприятии и жизнеустройстве нашего общества, в силу чего проблема колбасы, несомненно, должна быть обсуждаема и осмысляема с философской точки зрения.

Онтология, не побоюсь этого слова

Среди профессиональных философов, занимающихся на уровне фундаментальных исследований проблемами образа жизни, общественного мнения и внутрироссийского соревнования двух систем, неизбежно ведущего к победе третьей и неотвратимому установлению четвертой, существуют определенные стереотипы в освещении затронутой, не побоюсь этого слова, онтологической проблемы. В самом деле, фило-

софские кадры, воспитанные в годы проклятого застоя на прописях учебников для системы партпросвещения и еще не забывшие блаженные минуты застолья, до сих пор искренне полагают, что колбаса — это конкретно-историческая по своим вкусовым качествам (хотя и неизвестно, насколько национальная по содержанию) форма существования закуски, подобно тому как портвейн — национальная по способу применения (из горла, на троих) и сомнительная по содержанию форма выпивки. Подобные иллюзии не чужды даже некоторым интеллектуалам, с открытыми глазами прошагавшим страшные годы памятной всем антиалкогольной кампании.

Их кругозор ограничен еще с тех давних пор, когда в буфете МГУ им подавали яичницу, запеченную на сковороде с любительской колбасой, что, конечно, не давало возможности разглядеть и осмыслить феномен колбасы в его первоизданном, очищенном от белков и желтков виде.

Возьму на себя смелость утверждать, что с онтологической, бытийной точки зрения колбаса в России — это выражение духовной сущности российского населения (чуть было не сказал: народа) и, более того, единственное универсальное средство связи между упомянутым населением и властью.

Феномен колбасы в России — едва ли не религиозный, во всяком случае, он сродни символу веры: российский подданный никогда не знает, что в нее, колбасу, накручено, наворачено, нарублено, идут ли в ход туши специально и именно для этой цели убиенных животных или же не специально и, может быть, совсем не для этой цели, а как-то по-другому, — и тем не менее потребляет продукт, истово веруя, что, потребив, не перейдет в мир иной.

Колбаса как знак Европы

Очевидно, что явление колбасы в России было непосредственным, а может, и не столь уж непосредственным, но, во всяком случае, логическим следствием реформ Петра Великого, подобно табаку, картофелю и давшим жизнь нашим танцулькам и дискотекам ассамблеям. Ведь не случайно немцев на Руси пренебрежительно называли «колбасниками». Маятникообразные колебания России между европеизмом и автохтонностью, между реформой и реакцией парадоксальным образом не сказались на распространении колбасы в русских землях. В этом смысле колбаса стала, вероятно, наиболее стабильным фактором модернизации России, константой этого процесса, стержнем, который прочно удерживал державу от полного погружения в азиатчину. Таким образом, колбаса стала фактором европеизации и цивилизации России, подобно романам г-на де Лакло и г-на Дюма-отца, нобелевскому керосину, мини-юбкам и музыке «Битлз». В то время как слезливая мелодрама о дядюшке Томе, золотая лихорадка, жевательная резинка, музыка в стиле «рэп» и другие вполне бесполезные, но в символическом плане небезопасные структуры стали фактором ее, России, американизации, то есть, в потенции, полной утраты национальной самобытности и народного здравого смысла.

Последняя волна подобной, слегка отдающей колбасным духом, европеизации России пришлась уже на послевоенный и, более того, послесталинский период и была отчасти связана с известными телодвижениями советской армии в Венгрии и Чехословакии. Полагаю, что мода на исключительно европейский вид колбасы, именуемый *салями*, была занесена к нам после 1956 года россиянами, вынужденными стать

свидетелями известных событий в братской Венгрии (что-то вроде противостояния законодательной, исполнительной, партийной и беспартийной властей при участии третьей силы, разъезжающей между ними на танках). И вопреки распространенному заблуждению ряда историков эта саламизация колбасной культуры нашего отечества никак не была связана с фестивалем 1957 года и тем более с последовавшей чуть ли не полтора десятилетия спустя разрядкой в советско-американских отношениях...

Именно так: салами, токайское и рислинг, сладкий перец, вдруг обнаружившееся на картах Европы озеро Балатон со всей своей весьма недурной инфраструктурой туризма, черный кофе и, наконец, звонкое слово «сервус», означавшее одновременно как «здоровствуй», так и «прощай», что было чрезвычайно удобно для общения посланцев великой державы с сопредельными дружественными народами.

Варвары, завоеывая более цивилизованные общества, ассимилируют их культуру, вернее, то, что им доступно в этой культуре; последние же заимствуют *систему*, самое святое и дорогое, чем располагают завоеватели... Это явление, используя выражение, употребленное одним известным философом по несколько иному поводу, можно было бы назвать тоталитарной, а в более широком смысле — военной симметрией.

Колбаса и власть

Взаимодействие колбасы и разного рода отправлений власти отнюдь не исчерпывается тем, что ее (колбасу пока еще, а не власть) продают на избирательных участках в дни выборов или референдумов или, как это имело место в недалеком коммунистическом прошлом и, очевидно, будет иметь место в

близлежащем посткоммунистическом будущем, *выбрасывают* в магазины в день посещения губернского города NN высокими гостями из столицы...

Суть заключается в том, что колбаса, право распоряжаться оной, конвертируется в реальную, обладаемую власть. Пока колбаса сохраняется в исключительном, монопольном распоряжении власти — сохраняется и сама власть. Пока сохраняется власть — она тяготеет к абсолютному, ничем не ограниченному контролю за производством и распределением колбасы.

Колбаса — это своего рода инобытие власти, символ ее дееспособности, знак действующей государственности. Не случайно даже в ситуации движения от плановой социалистической экономики к свободному рынку и далее еще куда-то колбаса по-прежнему производится преимущественно в государственном секторе экономики. Частный (вернее, легитимированный частный) сектор колбасу и производные субпродукты производить, по определению, не способен, не смеет, ибо колбаса — это символ и атрибут государственности.

Колбаса также символизирует сексуальные потенции власти: не случайно в очередях за колбасой столь очевидно преобладает женский контингент. Последнее замечание особенно относится к сортам колбасы, по форме и размерам не столь отдаленно напоминающим фаллос, что является, очевидно, отзвуком архаических и фетишистских языческих культов.

Исчезновение в начале 90-х чайной колбасы даже из спецбуфетов означало, несомненно, одряхление власти, истощение присущих ей сексуальных импульсов, харизмы, динамики, энергетики, наконец, столь необходимой ей способности к насилию. Наступил климакс власти, что в полной мере и подтвердила

очевидно им-потентная, то есть бес-помощная, попытка путча в августе 1991 года.

Столь же очевидна связь между колбасой как частью национальной культуры и геополитикой. Геополитика, как известно, — это не только географическое положение государства, национальные интересы, границы, зоны и сферы влияния, решаемая автоматически проблема Аляски и, напротив, совершенно нерешаемая проблема Курильских островов и т. п. Геополитика — это и некая организация внутреннего пространства государства, определенная внутренняя его структура.

В этом отношении колбаса, по крайней мере в послевоенный период, была мощным интегрирующим фактором, организующим пространство бывшего Союза в единое целое, пронизанное силовыми линиями власти, замыкающимися в Центре, в столице. Так называемые *колбасные электрички*, о которых столько говорилось и писалось в первые годы гласности, электрички, на которых жители прилегающих (а часто и не прилегающих) к Москве областей совершали массированные коллективные наезды в столицу, вывозя оттуда сумки, источающие колбасный дух, в геополитическом контексте не могут рассматриваться как абсолютное зло. Ибо перевозимые на них колбасные изделия были символом единства страны, фактором интеграции и стабилизации российского/советского геополитического пространства.

Впрочем, оставим эвфемизмы, назовем вещи своими именами: были *колбасные электрички* — было великое монолитное государство, была единая держава. Исчезли колбасные электрички, был насильственно пресечен круговорот колбасы на просторах великой империи — и не стало Союза, исчезло трехсотлетнее государство...

Мифология и магия

Известный телеведущий, в своей черной кожанке как две капли воды похожий на обложку альбома «На концертах Высоцкого. № 13», как-то рассказал трогательный анекдот: питерские старушки, доведенные до нищеты Ельциным, Гайдаром и иже с ними, выпрашивают у продавцов колбасных отделов веревочки, коими обычно перетягиваются колбасные батоны, и потом варят эти невзор... то есть невзрачные веревочки в кастрюльках, чтобы (по авторитетному мнению телеведущего) придать содержимому кастрюльки хотя бы легкий колбасный аромат.

Если подобное имеет место, то эти действия носят, несомненно, не гастрономический, а символический, ритуальный характер и не могут быть рассматриваемы в примитивном кулинарно-экономическом контексте, как нечто сиюминутное, я бы даже сказал, *сиюсекундное*. Столь же ритуальный характер носило гиперпотребление колбасных изделий высшими слоями партийной номенклатуры и созданная исключительно для обеспечения этой символической процедуры инфраструктура: разного рода спецсовхозы, спеццеха, спецраспределители, спецбуфеты.

Вспоминая символические акты и процедуры архаических обществ, можно было бы уподобить сверхпотребление (как по количеству, так и по ассортименту) колбасных изделий партийно-государственными иерархами всех уровней обычаю поедать печень, сердце и прочие органы священных животных, а то и побежденных на поле брани врагов.

Видимо, именно понимание колбасы как могущественного языческого символа — средства, способного воспроизводить потенциал власти, — дает возможность приблизиться к разгадке тех абсурдных, на взгляд профана, ситуаций, когда ящики с колбасными

изделиями, еще вполне годными к употреблению, обнаруживались где-то на свалке или в овраге или, пуще того, просто оказывались вываленными на обочине, на полдороге между заводом-изготовителем и потенциальным массовым потребителем, тяготеющим к магазину, то есть «народом», вечным антиподом и антагонистом власти.

Впрочем, свалка, помойка, мусорный ветер — это слишком самостоятельные, слишком особые темы в современной России, чтобы касаться их вот так, вскользь, походя.

Андропов, к сожалению, был едва ли не единственным из советских политических лидеров, постигнувшим (скорее всего, интуитивно) совершенно особенное, почти мистическое предназначение колбасы в нашем обществе.

Несомненно, даже Никита Сергеевич, суровым словом заклеивший партийных пропагандистов — это, мол, нахлебники, бездельники и не они нужны народу, народу нужен гуляш, — лишен был замечательной андроповской пронципальности и интуиции. Вернее, справедливой была лишь первая часть этого экспрессивного суждения, насчет нахлебников. Но: народу нужен не гуляш — народу нужна *колбаса*. Как закончилась политическая карьера Хрущева, общеизвестно. Да и впрямь, неужели этой страной может руководить человек, не понимающий глубинного, метафизического различия между колбасой и прочими мясопродуктами, тем же гуляшом или, например, салом?

Более свежий пример. Уважаемый режиссер Э.Рязанов показал нам накануне референдума 25 апреля 1993 года некоторые картинки из частной жизни семьи Ельциных. В числе прочего в телефильм вошел сюжет, где президент, приходящий с работы домой, получает на ужин лишь остывший чай и котлеты из

магазинного фарша. Режиссера справедливо критиковали за некоторую натужность и недостаточное правдоподобие этих кадров; между тем, покажи он президента, вкушающего колбасу из ближайшего гастронома, — эффект был бы совершенно иным. В присутствии колбасы даже остывший чай не показался бы недоверчивым критикам передержкой. Но, к сожалению, и Э.Рязанов, оценивающий вместе со своими героями продукты в основном в их гастрономическом, а не экзистенциальном измерении («Ах, какая гадость эта ваша заливная рыба!»), и имиджмейкеры из президентской команды, курировавшие подготовку означенного референдума, оказались далеки от понимания существующей в нашем обществе системы символов и позволили себе преподнести некоторые вещи с нестерпимой банальностью.

На этом фоне весьма благоприятное впечатление оставлял бывший наш Верховный Совет, начинавший некоторые свои заседания сообщением с высокой трибуны о ценах на бутерброды с колбасой в кремлевских буфетах.

В сущности, колбаса стала в нашем обществе универсальной мерой всех материальных ценностей, всеобщим товарным эквивалентом стоимости, предтечей зеленого доллара. И не случайно даже сейчас, когда все прежние цены безнадежно забыты, каждый помнит: самая такая-растакая, полусъедобная, рисковая и, в сущности, помимо водки неупотребляемая колбаса типа «собачья радость» стоила в этой стране 2 рубля 20 копеек... Что же касается Юрия Владимировича, то он, по большому счету, оказался прав: понаделали колбасы, и действительно не стало у нас диссидентов.

Колбаса как свершившаяся утопия

Но если человек, взявший в магазине приличный кусок колбасы, испытывал чувство более или менее глубокого удовлетворения, то индивид, оплативший цельный батон, *полено* колбасы, уже утверждал себя как личность. Это ощущение можно сравнить, вероятно, только с чувствами американца, подгоняющего к гаражу, на глазах соседей, новенький автомобиль последней модели... «Взвесьте мне этот батончик!» — и пальчиком в витрину... А сколько в этих словах достоинства, подлинного самоуважения трудового человека! Сколько глубинного потаенного смысла! Дано ли иностранцам, пришельцам из иного мира, понять это? А незабываемое ощущение, когда ты идешь — нет, следуешь — по улице и у тебя из сумки торчат концы как бы не уместяющихся в ней колбасных батонов! Счастлив тот, кто хоть раз оказался в этой роли колбасного барона, ощущая приятную тяжесть в руках, едва уловимый специфический запах и лоя спиною уважительные взгляды прохожих...

Одним из самых сильных потрясений в моей жизни было зрелище лежащего на асфальте свеженького, чистенького батона сервелата... Как сейчас помню, было это весной 1992 года, вскоре после начала реформ Гайдара (рост цен, дефицит наличности, задержки с зарплатой), как раз напротив кинотеатра «Литва», на другой стороне улицы, близ автобусной остановки... Я, совок, воспитанный тоталитарным режимом в недоверии ко всему чудесному и необычному, с замедленной реакцией на чужие, без присмотра оставленные вещи, пропер мимо. Точно так же я шарахнулся бы от человека, предложившего мне в подарок блок сигарет «Мальборо» или шоколадку... Шарахнулся, да еще с какой-то несуразной мыслишкой насчет фильмов, снимаемых скрытой камерой... И

проходя, и ругая себя при этом последними словами, и сохраняя свое достоинство советского/российского интеллигента/интеллектуала, я спиной уже ощутил, как чьи-то цепкие глаза быстро оглядели все вокруг, чьи-то цепкие пальцы уже ухватили полено сервелата и, обгоняя меня, понимая, что удача в этой стране недолговечна, случайна и преходяща, он, обладатель цепких пальцев, сделал из-за моей спины рывок — и вот уже прыжок в отходящий, захлопывающий двери 187-й автобус, и все, все, все позади...

Что за картина, что за воспоминание, что за страна, что за люди! Воистину, бойкий, бойкий народ родится в этой земле!

Птица колбаса

Несомненно, в подсознании русского народа колбаса — это нечто стремительное, неостановимое, сметающее все на своем пути, нечто могучее и державное, блистательное и великолепное, и это подсознательное время от времени выплескивается на поверхность бытия: не в пословице, так в поговорке, не в поговорке, так в стихийном народном наименовании предметов. Вспомним: «Катись колбаской по Малой Спасской!» Или: «Коли б у колбасы крылья, то лучшей птицы не было» (см. словарь Даля).

Кстати, *колбасой* называли когда-то ту часть трамвая, на которой с риском остаться без ног, бравидуя друг перед другом своей невозмутимой отвагой, вцепившись когтями в сплетение веревок, труб и трубочек, катались по Б. и М. Спасской, Боровицкой и прочим улицам и переулкам школяры моей и более ранних популяций.

И вот уже не хрестоматийная тройка из школярских выпускных сочинений, а сверкающая перьями и алюминием птица колбаса летит, необгонимая,

неустрасимая и легендарная, несется по ухабистому российскому хайвэю, гремит, раскачиваясь по неверным шатким рельсам, со свистом рассекает воздушное, в дымах миллионов заводских труб, пространство. Поднимая легкий колбасный ветерок, проносится в тоннелях метрополитена, колышет шлейфы мини-юбок очаровательных наших соотечественниц, покачивает могучими крылами с экранов телевизоров... Да, редкая птица долетит до середины Днепра, но эта... И останавливается всяк, и посторонивается, и осязает кожей дуновение колбасного этого ветерка, и достает из широких штанин заветную купюру, и тут же обнаруживает себя стоящим у дверей магазина, и встраивается в очередь... Ведь какой русский не любит быстрой езды!..

Но прервемся. Спросим о главном. Русь, куда несешься ты, дай ответ. Чу?.. Ничего. Только ветер гудит в проводах да стервятник спустился и сузил круги...

ДОРОГА.

Движение, пространство и время в России, Америке и СССР

1. От океана до океана

Россия и Америка — две огромных страны, которые простираются от океана до океана и которые, по мнению многих людей, наделенных способностью думать и сравнивать, имеют немало общего. В частности, Джордж Кеннан, бывший посол США в Москве, ставший после второй мировой войны заметной фигурой в американской политологии, писал, что существует определенная общность в коллективном опыте двух стран и для некоторых американцев намного легче понимать Советский Союз, чем континентальных европейцев и англичан... Причиной тому нечто, что сложно сразу определить: какое-то родство душ жителей крупных континентальных стран. На Кеннана, кстати, произвела особое впечатление общность в жизненном опыте между американцами и сибиряками, в основе которой лежит, по его убеждению, то обстоятельство, что Сибирь, так же как и США, — это общество, сформировавшееся под влиянием расширения границ на протяжении нескольких веков.

Подобные рассуждения и правильны, и ограничены, потому что слишком глобальны, слишком общи, в них заметно стремление взглянуть на проблему со слишком большой высоты, откуда пространство

видится как «вообще-пространство», лишенное (для наблюдателя) какой-либо внутренней структуры.

Помнится, русский историк В.О.Ключевский, человек, написавший, что «история России есть история страны, которая колонизируется», и что колонизация есть «основной факт» русской истории, выделял два типа колонизации: колонизация-расселение и колонизация-переселение. Славянское население распространялось по русской равнине, не расселяясь, а переселяясь, «переносилось птичьими перелетами из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые».

Однако высказывание Ключевского не проясняет в полной мере сути вопроса — в чем же заключалась специфика *российской* колонизации, какова была ее роль в организации пространства власти, в «форматировании» этого пространства? Ведь два названных им типа освоения географического пространства мы, вероятно, можем встретить во многих государствах и в самые различные эпохи. Между тем, не поняв того, чем процессы колонизации в России отличались, например, от колонизации Северной Америки, какое воздействие оказали имевшие место различия на формирование пространства и технологий власти в двух нынешних великих державах, трудно всерьез рассуждать о природе и истоках власти демократической (предположительно, США) и власти тоталитарной (предположительно, СССР с 1917 года до начала 90-х годов).

Казалось бы, и колонизация Америки происходила сходным образом: повозки первых переселенцев... форты — аналоги наших острогов и деревянных крепостей... оттеснение в глубь континента, в сторону от основных путей передвижения переселенческой массы, коренного населения, индейцев, спаивание их «огненной водой» и карательные экспедиции, наконец, ежечасная борьба переселенцев за выживание...

Но есть и весьма существенные отличия: в России регулятором колонизации был «центр», средоточие власти: по приказу из Москвы, позже из Санкт-Петербурга могли быть переселены «за Камень», за Урал, на сибирские просторы целые деревни, а порой и города (Н.И.Костомаров отмечает, что после убийства царевича Дмитрия в Угличе и розысков, предпринятых следственной комиссией Василия Шуйского, по словам одного из современников, «...иных казняху, иным языки резаху, иных по темницам рассылаху, множество же людей отведоша в Сибирь и поставиша град Пелым и ими насадиша и от того ж Углич запустел»). По наущению или с ведома «центра» или поставленных им в главных сибирских городах воевод снаряжались лихие землепроходческие экспедиции вроде походов Семена Дежнева, Ерофея Хабарова или Василия Пояркова. Все оставленные ими на географической карте отметины, все возведенные остроги и крепости, наконец, вся *землица*, прихваченная у аборигенного населения в ходе отчаянных этих предприятий, не только объявлялись принадлежащими московскому государю, но и геополитически привязывались к одному из центров власти — не к Москве непосредственно, так к Якутску, где сидел царский воевода, становились *микрокосмами власти*, подобно дворянским поместьям и монастырям в Центральной России, уральским копиям и подземным заводам, где под землей жили, работали и умирали крепостные люди, подобно военным поселениям или сахалинской каторге...

Поэтому весьма вероятно, что дихотомия «расселение (путем естественного прироста населения) — переселение», которую пытался приложить к истории России, в частности, В.О.Ключевский, недостаточна для понимания сути российской колонизации: то имеющее общий вектор движение, которое можно

было бы назвать переселением, осуществлялось посредством создания множества микрокосмов власти, так или иначе привязанных к «центру» и без него не жизнеспособных. (Философ Валерий Подорога прекрасно показал действие аналогичной геополитической структуры в условиях тоталитарного общества: все «великие стройки коммунизма» и, главное, «архипелаг ГУЛАГ» были результатом реанимации этого типа колонизации и этого типа организации пространства власти).

В Америке же «центра» не было. Отвоеванное у природы и индейского населения пространство так или иначе, рано или поздно становилось однородным, организованным «по горизонтали»; микрокосмы власти, неизбежно вкрапливавшиеся в это пространство в процессе колонизации, впоследствии поглощались, растворялись самим этим пространством; в промежутках, в лакунах между микрокосмами власти развивалось гражданское общество... В России же поток переселенцев на восток и юго-восток, на *украины* империи, по крайней мере до конца XIX века, вел лишь к консервации сложившейся геополитической структуры и совершенствованию технологий власти, стягивающих воедино те или иные ее (власти) ареалы и микрокосмы.

Колонизация в России была как бы двойной, матрешечной: переселенческие потоки, внешне аналогичные американским, скрывали скелет, основу колонизационного процесса: очаговую колонизацию, опирающуюся на созданные ею же микрокосмы власти. В какой-то степени эта двойственность так и осталась нераскрытой тайной российской власти, как имперской, так и постимперской, тоталитарной.

2. «Мертвые души»

Попытаюсь пояснить (а кое-где и дополнить) сказанное на материале общеизвестном, литературном. «Мертвые души» Н.В.Гоголя начинаются, как известно, с того, что два ленивых, праздных русских мужика, стоящих, как водится, у дверей кабака, обсуждают достоинства чичиковской брички: случись что, доедет во-он то колесо до Москвы или не доедет? — «Доедет». — «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет». А заканчивается знаменитая поэма хрестоматийным описанием стремительного движения птицы тройки (Гоголь пишет эти два слова без дефиса); впрочем, где-то между началом и концом первой части поэмы проскальзывают еще и авторские ремарки типа: «В дорогу! В дорогу!» или «Дорога, необъятный простор!» Но, парадоксальным образом, гоголевская поэма оставляет ощущение почти непрерывного и едва ли не стремительного движения — как будто некто, мчащийся на тройке, лихо пронесется сквозь все пласты русской жизни. Но это — иллюзия, созданная блистательным пером гения, не более.

На самом деле Чичиков въезжает в губернский город NN, размещается в гостинице — и потом долго крутится на месте, в городишке и его окрестностях, делая визиты местным помещикам и с немецкой методичностью скупая мертвые души. Траектория движения Чичикова, по сути дела, повторяет стандартный способ колонизации властью российского пространства: пригородные дворянские имения суть базовые микрокосмы власти, а сам город NN да и губерния в целом — не более, чем один из *углов государства*, ибо государство, где есть всемогущий Центр, только и может состоять из *углов*, и каждый *угол* так «обустроен», чтобы вечно оставаться затхлым *углом*, а

не стать вдруг чем-то большим, чтобы империя жила, оставаясь совокупностью *углов империи*.

Владимир Набоков, аристократ и эстет, в своем известном очерке о Гоголе высказался в том смысле, что Чичиков — это воплощение всей пошлости того пошлого, убогого мира, в котором Чичиков, этот «колоссальный шарообразный пошляк», собственно и существует.

Набокову в силу его воспитания и менталитета неинтересно, что Чичиков — не только пошляк, но еще и *делатель*, правда, не фальшивых «бумажек», как уверял Ноздрев, а некоего непростого, хотя и весьма сомнительного дела. В этом смысле он противостоит сонму тупых, сонных «рыл», проспавших слом времен, сделавший возможным гешефты таких дельцов, как Чичиков.

Но если Чичиков — *делатель*, то и время его протекает иначе, чем у большинства прочих населяющих пространство власти пошляков. Вторжение его в архаические микрокосмы власти, типа усадьбы Плюшкина или Коробочки, микрокосмы, существующие по собственным законам, не может не иметь *быстроты действия*: он спешит, призрак власти стоит у него за спиной, он обязан обогнать отпущенное ему время и выскочить на столбовую дорогу, на простор, в «космос» власти — вплоть до явления его в следующем углу государства. «Мне нужно поторопиться... так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?» — таков типичный чичиковский рефрен.

Для постоянных же обитателей города NN время не имеет значения; имеет значение только статика, их расположение вдоль силовых векторов власти — и мертвые и живые равным образом находятся вне времени. А для Чичикова статика — убийственна: позади у него казенный курьер с предписанием, впереди — «горькая и скучная» русская дорога. Чичиков в

своем отечестве не пророк, но как бы иностранец, почти иностранец: ведь он своей аферой как бы соединяет углы государства, но соединяет их по-американски, по горизонтали, *не-через-центр...* и вот мы покидаем его, скачущего в другой угол необъятной России.

А жители города NN хоронят прокурора и судачат о том, каков будет новый генерал-губернатор, присланный из Петербурга, из столицы, из «центра».

3. «Лолита»

Роман Набокова, в отличие от гоголевского, действительно почти непрерывное движение. Но *где и как* происходит это движение?

В Америке никогда не было феодальных институтов и не было «центра». Колонизируемое пространство было организовано как сообщество земель (штатов) — то, что многие философы и политологи, утомленные коллизиями в недавно еще автономных, а ныне суверенных национальных республиках, призывают как-нибудь учинить и в России. Совсем другая геополитическая карта, не говоря уже о том, что «Лолита» — это не столь далекий от нас послевоенный 1947 год... «Бричка» Гумберта, этот «рыдван с беспомощными дворниками и сумасшедшими тормозами», может бесконечно колесить по дорогам Америки. Описание траектории передвижений Гумберта и Лолиты с августа 1947-го до августа 1948-го занимает в книге две трети страницы, и это, добавляет автор, не считая «многочисленных побочных заездов, туристических тупиков, вторичных кругов и прихотливых отклонений...».

Пространство Америки бесконечно, открыто, оно не состоит из сплошных микрокосмов власти, как

российское, — и в то же время оно скучно, пошло, однообразно — это та же «дорога горькая и скучная».

Набоков был последователен и, объявив Чичикова образцовым носителем пошлости, создал свой собственный, набоковский, лик пошлости; он делает *Лолиту* средоточием *американской* пошлости: пошлы ее замашки, вульгарна речь, убог круг предметов, без которых она не может существовать, вся эта жевательная резинка и жареная кукуруза, воскресные приложения к газетам и глянцево-журнальные путеводители и ночные туфли, отороченные кошачьим мехом; пошло все, что вызывает ее интерес: и так называемые *достопримечательности*, и фильмы; пошлы ее мать, подруги и так называемые «друзья», добившиеся от нее желаемого раньше, легче Гумберта и без всех этих европейских комплексов и угрызений совести...

Набоков — слишком большой писатель, чтобы ему пришлось прилагать какие-то усилия для того, чтобы убедить читателя, что вся эта концентрированная, всепроникающая пошлость никак не связана с возрастом Лолиты (в начале романа ей двенадцать) или с тем, что она стала объектом сексуальной эксплуатации. Нет, пошлость для Набокова — это вкус и запах Америки. И, кстати, времени в этом пространстве не существует, потому что движение стремительно, непредсказуемо, бессмысленно и, поскольку определяется прихотями маленькой *Ло*, оно пошло, если только движение может быть пошло.

Словом, для меня «Лолита» — один из самых саркастических антиамериканских романов, который мне когда-либо довелось прочитать.

Единственный человек в романе, ощущающий это половодье пошлости, — жуткий извращенец и свратитель несовершеннолетних Гумберт — не американец; он — европеец, родившийся в Париже у швейцарского подданного и англичанки, и он — един-

ственный человек, способный чувствовать, страдать, и он обречен, потому что его любовь — иллегальна, безответна и навсегда останется безответной... его Ло любить не может — писатель сконструировал и преподнес читателю образцовую машину нелюбви, куклу с непрерывным заводом, с вечной, вневозрастной неразвитостью чувств...

Да, американское пространство открыто, но это все-таки пространство власти, и Гумберт вынужден бежать от нависающего над ним в каждой точке этого пространства *закона* — и кончает тем, что совершает бессмысленное, в сущности, убийство и отдается в руки этого закона, ибо без Ло жизнь не имеет смысла... «Я предвкушал удовольствие отдаться в многочисленные руки и ничем не содействовать им, пока они будут нести меня... извлекающего диковинную услугу из собственной вялости и абсолютно надежной поддержки со стороны полицейских...» Такова оказалась судьба Гумберта: *мертвая любовь* (вспомним Гоголя!); но и это — не американское: у американцев *судьбы* не бывает, судьба — это привилегия европейского интеллектуала, от которой его не спасает даже «правильно» организованное геополитическое пространство.

Сравнивая траектории движения по российскому пространству («Мертвые души») с траекторией движения Гумберта и Лолиты по Соединенным Штатам, можно, казалось бы, констатировать их сходство. В обоих случаях перед нами возникает длинная ломаная линия, как бы тяготеющая к прямой, соединяющей исходный и конечный пункты движения. На самом же деле эта линия вписана в совершенно различные пространственные структуры.

Американское пространство структурировано как своего рода *кристаллическая решетка*.

Прямая в этой структуре связывает *все-равно-какую-точку* с такой же, равнозначной ей, *все-равно-какой-точкой*.

Российское пространство организовано иначе. Здесь прямая, соединяющая две точки, пересекает пространство, *организованное через-центр*, в виде *звезды*, и сколько-нибудь значимые точки в этом пространстве организуют окружающее их локальное пространство также в виде звезды, становясь, таким образом, второстепенными центрами в стянутом центростремительными силами пространстве власти.

Последнее обстоятельство весьма существенно, ибо российский губернский город — это нечто, отсутствующее в геополитической структуре той же Америки. Ф.Ф.Вигель, крупный чиновник и достаточно известный литератор, писал:

«В России есть города, кои следует назвать казенными, потому что в них встречаются по большей части одни должностные лица, помещики бывают в них только иногда по делам...»

А.И.Герцен в своем достаточно жестком памфлете, написанном по поводу «Записок» Вигеля, цитируя этот пассаж, говорит о «странной физиономии городов, в которых, собственно, нет туземцев».

Эта российская структура в зависимости от вектора колонизации и, соответственно, направления идущих от центра импульсов может быть развернута от центра на восток или выстроена по линии «центр — север» или «центр — юг». Американская же структура однородна — в ней не задано направление движения властного импульса.

В заштатных русских городках мы на каждом шагу слышим: Петербург, Петербург... Или: «В Москву! В Москву!» Присутствие столицы, Центра Вселенной, ощущается ежеминутно в любой точке пространства

власти; это центр, выведенный за скобки бытия, но влияющий на него постоянно, как генератор.

Городок *Санкт-Петербург*, где живут Том Сойер и Гекльберри Финн, этот заштатный американский Урюпинск, не знает никаких центров — он сам центр мира, и кажется, большинство его жителей даже не подозревает, что где-то существует столица державы, и тем более не догадывается о том, что можно испытывать некий комплекс в связи со своей провинциальностью...

4. «Москва — Петушки»

И наконец, творение нашего соотечественника Венедикта Ерофеева, написанное в 1969 году. Непрерывное движение не совершающего никаких движений персонажа — *alter ego* и полного тезки автора. Электричка несет его даже не по траектории, а по прямой, с которой не сойти и не уклониться. И времени нет в этом движении: герой существует от стакана до стакана и от проблеска чувства любви к неизвестной героине, живущей на станции Петушки, до проблеска столь русского чувства вины.

Вагон несется в пространстве, а населяют его предельно живые люди, иногда жутковато-советские, но не уродливо-пошлые, как гоголевские персонажи, и не правильно-пошлые, как увиденные Набоковым американцы.

Движение героя, Вени Ерофеева, субъекта без определенных занятий и доходов, физически реально; он движется и несется в никуда, он перемещается... оставаясь при этом на месте. «Живучи на Руси, нельзя не путешествовать хотя бы туда-сюда», ибо иначе не избежать «ужаса мучительного, трясуемого и, что хуже всего, беспомощного...». Но вожделенные Петушки оказываются столицей, и вот уже виден Кремль... Но

нет спасения от ужаса, и описание последнего смертного страха завершает поэму несчастного Венички Ерофеева, великого русского писателя, прожившего такую... такую русскую, черт ее подери, жизнь.

Маршрут Москва — Петушки может быть повторен миллион раз, и миллион раз герой не достигнет своей мечты, оставаясь в точке обреченности, точке, из скопища которых соткано пространство тоталитарной власти. Абсолютная власть достаёт человека в любой точке пространства и в любой момент его бытия: все пространство СССР 60-х годов сужается до тесноты неизвестного подъезда... Смертный ужас, непереносимая боль... «...И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду».

Нет, действительно, Веничка тысячу раз прав: самое главное — уйти от рельсов, от прочерченной чужой, враждебной, всеильной рукой прямой, вектора, на котором жизнь человеческая — всего лишь едва заметная точка.

ДОНОС В РОССИИ.

Опыт социально-философского исследования

Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил.

М.Булгаков. Мастер и Маргарита

Донос, доносительство... Исследуя этот феномен, грязноватой пеленой окутывающий российскую историю, легче всего прийти к выводу, что мы имеем дело с патологией: доносят во все эпохи и все поголовно — холопы на бояр, бояре друг на друга, дети на родителей, родители на детей, жены на мужей, мужья на жен, штатские на военных, военные на штатских, доносят алкаши и секретари обкомов, законопослушные граждане доносят на революционеров и диссидентов, а революционеры — на контрреволюционеров и врагов народа, доносят официально завербованные сексоты и правдолюбцы-любители, доносят из шкурных соображений и ради идеи... В одном из архивов мне даже довелось видеть три доноса некоей дамы на свою квартирную соседку, адресованные непосредственно Ленину: все три письма педантично зарегистрированы в секретариате предсовнаркома...

Что это? Вирус, паразитивший страну? систему?

российского человека с его непознаваемой и загадочной славянской душой? Может быть, прав был писатель Лев Разгон и «ген» доносительства — это своеобразное проклятие российской истории? Велик соблазн дать определенный и исчерпывающий ответ на эти вопросы, но едва ли это возможно: сами вопросы поставлены не вполне корректно.

Сегодня для всех достаточно очевидно, что доносительство было фундаментальной чертой тоталитарной политической культуры, необходимым элементом функционирования тоталитарных структур власти: причем речь идет о масштабах, которых человечество не знало, вероятно, с эпохи религиозных войн и истребления еретиков.

В то же время (и не случайно мне здесь вспомнились сотни еретиков, сожженных на кострах инквизиции по доносам их друзей и соседей) доносительство — феномен, отчетливо проявляющий себя на всех этапах истории человечества, во всех социальных системах и цивилизационных контекстах, хотя, по мере становления демократических форм организации общества, постепенно теряющий свою адскую инерцию. В чем же тогда специфика данного феномена в российском обществе и как и в силу каких причин он изменялся в обществе советском, тоталитарном? Почему мы берем на себя смелость утверждать, что этот непрменный элемент механизма власти встроен в тоталитаризм каким-то специфическим, особенным образом, и доносительство, скажем, в условиях сталинского режима или в нацистской Германии — это нечто иное, нежели доносы во времена Петра I? Чтобы ответить на эти естественные вопросы, недостаточно рассмотреть мотивацию субъектов, осуществляющих сам акт доносительства («доносчивых людей», доносчиков, доносителей, фискалов, осведомителей, добровольных «помощников», стукачей и т. д.), ре-

ставрировать их ментальность. Необходимо восстановить весь контекст специфических для авторитарных и тоталитарных режимов взаимоотношений между властью и ее объектом, ибо власть, и не только власть тоталитарная, стремится десубъективизировать социум, помешать ему стать гражданским обществом, то есть сообществом самостоятельных, сознательно и активно действующих субъектов. Власть пытается сплавить общество в некую социальную лаву, объект приложения сил Власти. Кроме того, как ни банально это может прозвучать, но все познается в сравнении, и исследование механизмов власти в посттоталитарном обществе может в определенной мере прояснить роль и функции доносительства в тоталитарном обществе — и наоборот.

1. Донос как феномен повседневности

В течение столетий донос на Руси являлся вещью обыкновенной. Все наши исторические хроники пестрят словами — *донос, по доносу, по оговору* и т. д. Спектр проступков и преступлений, зафиксированных, например, в доносах XVI — XVII веков, достаточно широк и отражает специфику средневекового времени, присущую российскому менталитету допетровских времен архаику, но в то же время сквозь это глухое застойное время уже брезжит порой нечто новое, то, из чего несколько десятилетий спустя родились реформы Петра I.

Известно, что еще в до-имперской России донос был инструментом и средством борьбы за власть: так, Годунов использовал в своих политических целях доносы на членов рода Романовых и поощрял и вознаграждал доносчиков (об этом подробно пишет в своей «Истории» Карамзин).

Важно, однако, не только зафиксировать саму ситуацию доносительства, но отметить, что же рассматривается доносчиком в качестве точки максимальной уязвимости человека, становящегося объектом доноса. Так, при царе Алексее Михайловиче Семен Стрешнев, царский родственник, боярин, был обвинен в волшебстве; его лишили боярского звания и сослали в Вологду. Боярина А.С.Матвеева, одного из фаворитов Алексея Михайловича, также обвинили в волшебстве, к которому он якобы прибегнул, желая помешать браку царя Алексея и своей воспитанницы Натальи Нарышкиной. Чуть раньше на стольника Илью Милославского, отца первой жены царя Алексея Михайловича и его будущего тестя, донесли, что у него хранится волшебный перстень знаменитого дьяка Грамотина; в доме Милославского перетряхнули все пожитки, но перстня так и не нашли¹.

Многое из вышеназванного происходило в 60-е — 70-е годы XVII века, незадолго до петровских реформ; но чтобы правильно понять эти факты и специфику технологий власти, существовавших в допетровской Руси, следует иметь в виду, что еще в 70-е годы XVII века женщин по оговору в порче сжигали на костре, а за убийство мужа жену полагалось «живую окопать в землю и казнить ее такой казнию безо всякой пощады, хотя бы дети убитого и ближние его родственники и не захотели, чтобы ее казнили, не давать ей отнюдь милости, держать в земле, пока умрет»².

Характерен способ, при помощи которого доводили до сведения власти прегрешения ее холопов, — обычно это было так называемое подметное письмо. Термины «анонимное письмо», «анонимка» тогда еще не внедрили в русский язык; последнее происходит позже, с проникновением в Россию западноевропейской образованности, обучением представителей

высших слоев общества иностранным языкам, наконец, налаживанием и демократизацией работы почтового ведомства...

Часто донос является даже не наветом, наговором, а просто средством выживания в условиях круговой поруки, общего тягла, стремления того или иного знатного рода к самосохранению в условиях отчаянной борьбы наиболее знатных родов за влияние на самодержца, за контроль над институтами власти. Иными словами, доносительство оказывается естественным следствием технологий властвования, доминировавших в обществе, — и в то же самое время выступает как специфическая технологическая структура, неразрывно связанная, сплавленная с прочими пронизывающими общество властными технологиями. Несколько примеров такого рода доносительства приводится в «Истории» С.М.Соловьева... Посадский люд бьет челом на посадского же человека, непотребным поведением способного навлечь гнев властей предержавших на всю корпорацию: «Жалоба нам на посадского человека Короба: пьет и бражничает безобразно, в зернь и карты играет, жену свою бьет и мучит не по закону! Вели его с женою и детьми с посаду выслать вон, чтоб нам в пене и опале не быть»³.

Такого рода жалоба-донос как бы снимает вину с ее авторов и перекладывает ответственность за дальнейшее непосредственно на власть: механизм и стимул доносительства, с которым мы еще столкнемся, в том числе и в недалекий от нас хронологически тоталитарный период.

Итак, донос не вызывает праведного гнева, доносителей не разоблачают с пафосом идеалисты-моралисты, хотя бы потому, что доносительство в структурах морали, как светской, так и духовной, рассматривается не как грех, а как добродетель... Сегодня мы могли бы сказать, что атмосфера доноси-

тельства была нормальной атмосферой этого общества; однако это содержащее некий негативный акцент суждение было бы определенной модернизацией истории, ибо понимание индивидом того, что каждый его шаг может стать поводом для доноса, было элементом нормального и принимаемого индивидом мира, где донос на тебя был столь же естествен и нормален, как и твой собственный донос на другого.

На Руси доносят, уповая на награду; доносят из мести, из зависти, причем опять-таки не только холопы на господ, но и люди самого знатного звания друг на друга; доносят из чувства долга, доносят из страха, из боязни прослыть недоносителем (в этом отношении юридическая аура вокруг феномена доносительства была на Руси хотя и чрезвычайно своеобразной, но все же не уникальной).

Появляются тем не менее и колоритные, самобытные формы доносительства (хотя, конечно, вероятно трудно поверить, что в многовековой истории человечества могут быть обнаружены чисто национальные формы такого тривиального акта, как донос). В частности, практикуется своеобразная форма анонимного, но потенциально «авторского» доноса, когда в «подметном письме» сообщается некий компромат на определенных лиц, а сами радетели о благе государства и отечества до поры до времени («когда Господь Бог все утишит») предпочитают оставаться неизвестными, впрочем сообщая в тексте свои приметы (бородавка, шрам и т. п.) и оставляя таким образом за собой возможность явиться за наградой.

Связанное столь прочно с отечественной традицией, доносительство вполне естественно вписывалось в контекст преобразований, которые в нашей литературе принято характеризовать как прогрессивные. В частности, создание Петром I института фискалов (1711 г.) для борьбы с должностными злоупотреблениями

стимулировало доносительство среди «низов» российского общества. Донос встраивался, таким образом, в структуру модернизируемой, европеизировавшейся власти, становился одним из способов «варварской борьбы с варварством»⁴. В.О.Ключевский так характеризует мораль и правосознание петровской эпохи: «Выдающиеся дельцы той эпохи вроде Артемия Волинского, младшего современника и птенца Петра Великого, не находили ничего зазорного в тайном доносе, а доказывать свой донос открыто, следственным порядком, очными ставками и “прочими пакостями”, по выражению Волинского, бесчестно и для последнего дворянина, а публично оправдавший себя доносчик “и с правдою своею самому себе мерзок будет”»⁵.

Так или иначе, в течение столетий донос не считался на Руси чем-то зазорным; скорее, доносительство можно рассматривать как норму взаимоотношений индивида и государства, норму не политическую (ибо политики в нормальном смысле слова в российском обществе еще нет) и не социальную (поскольку гражданского общества как некоей целостности также нет), а как некие общепринятые правила поведения в рамках достаточно жесткой системы технологий власти, существовавшей в авторитарном и в то же время архаическом, патриархальном обществе средневековой Руси. С другой стороны, если мы посмотрим на доносительство с точки зрения отношений власти и *тех-кто-под-властью*, мы вполне можем охарактеризовать его как одну из властных технологий, элемент структуры средневекового русского общества.

Специфику феномена доносительства в том или ином обществе, в ту или иную эпоху едва ли возможно понять вне анализа всей структуры мотивов, приводивших к воспроизводству подобного рода актов, всей совокупности векторов и технологий власти,

воздействующих на индивида и обуславливающих его личный выбор — доносительство или недоносительство.

Последнее очень важно подчеркнуть, потому что, скажем, в отечественной правовой традиции недоносительство в течение долгого времени расценивалось как преступление; следовательно, выбор между донесением и недонесением являлся, помимо всего прочего, выбором между следованием закону и его нарушением, причем нарушением, чреватым самыми серьезными карами. «Соборное уложение» 1649 года предусматривало, например, казнь не только самого заговорщика, но и членов его семьи (включая детей), знавших об «измене» и не донесших о ней. Эти понятия становятся частью не только официальных юридических норм, но и обыденного правосознания, которое в моменты политических и социальных катаклизмов заменяло закон и все юридические формальности. Так, Н.И. Костомаров описывает, как во время стрелецкого бунта 1682 года стрельцы ворвались в дом думного дьяка Ларионова, вытащили хозяина то ли из сундука, то ли из печной трубы, сбросили с крыльца на копья, рассекли на части, стали грабить дом и нашли при этом каракатицу, которую дьяк держал в виде редкости. «Это змея, — закричали стрельцы, — вот этой-то змеею он отравил царя Федора», — и затем убили сына Ларионова, Василия, за то, что он *знал про змею у отца и не донес*⁶. Недоносительство рассматривалось властью как страшный, воистину смертный перед ее, власти, ликом грех. Так, царевна Софья, утвердившаяся после стрелецкого бунта в качестве правительницы государства на целых семь лет, объявила, что смертью будет караться всякий, кто будет хвалить прежние дела стрельцов, — но также и тот, кто, слыша такие разговоры, не донесет. (Эту правовую традицию власть бережно сохраняла на

протяжении столетий — еще в сталинские времена в ГУЛАГе находилось множество людей, попавших туда по статье о недоносительстве.)

Академик Д.С.Лихачев, пытаясь найти ключ к пониманию эпохи Ивана Грозного, высказывает мнение, что жестокость и нетерпимость царя были не только его личными и случайными свойствами.

«Эта жестокость лежала в социальном порядке вещей: эпоха подошла к воплощению полной средневековой унификации, — подошла, но не могла ее до конца осуществить. Монархическая же унификация казалась крайне необходимой после мучительных столетий политических разладов и феодальной культурной раздробленности. Оставшееся для достижения идеала малое, казалось, уже не имело реальных сил для сопротивления. Но в том-то и крылась ошибка. Сопротивление монарху, всякое проявление хотя бы и небольшого произвола злило, вызывало жестокое подавление и вместо идеала усиливало деспотизм, а вместе с деспотизмом — производ, дробление еще худшее, чем раньше, отделение и бегство из центра на окраины...»⁷

Эта оценка, безусловно, не исчерпывает эпохи Ивана Грозного и присущих ей внутренних противоречий, но проливает свет на одну из самых существенных составляющих этой эпохи, на логику действий самодержавной власти в России вплоть до периода «просвещенного абсолютизма».

Подход Д.С.Лихачева чрезвычайно важен для нас потому, что помогает определить место доноса во всей системе властных отношений средневекового русского общества, понять донос прежде всего как средство унификации бытия самодержавной властью, унификации, подчеркну, налагавшейся на общество «сверху». Страсти, эмоции, пафос злодейства «внизу» эту власть, в сущности, не интересовали, были ей безразличны, как безразличны любой деспотической

власти эмоции отдельных людей. Время организованной массовой экзальтации, время «сентиментального злодейства», генерируемого властью, и сентиментального восхищения со стороны тех, кто несет на себе ярмо этой власти, еще не настало, более того, наступление этого времени еще не могло быть предугадано. И процесс эволюции доносительства в России отнюдь не был процессом «превращения» обыденного доносительства средневековой Руси в экзальтированное доносительство тоталитарной эпохи. Два этих феномена разделяла огромная полоса исторического развития.

По мере развития гражданского общества в России, постепенного преодоления вассальных, патерналистских отношений между властью и подданными (становящимися *гражданами*), в процессе эмансипации сословий от государства (начавшемся после выхода манифеста о вольности дворянства в 1762 году), наконец, с появлением в обществе иных моральных парадигм, помимо культивируемых властью, доносительство постепенно преодолевается, вытесняется *как норма жизни*. Донос перестает быть святой обязанностью образцового подданного. Недонесение о взглядах, образе мыслей и даже «умысле» на власть перестает рассматриваться как уголовное преступление. Наконец, в обществе, во всяком случае, в образованной его части, начинает преобладать представление, согласно которому доносительство (независимо от его мотивов) есть бесчестье, выход за рамки морали. Вспомним злое пушкинское «Видок Фиглярин», жестокую эпиграмму на Фаддея Булгарина, преуспевающего и процветающего литературного соперника Пушкина, дававшего, кстати, весьма сдержанные (в сравнении с предыдущими, да и последующими образцами жанра) литературные «консультации» III отделению, «консультации», имевшие скромную цель «придержать» своих потенциальных конкурентов в журналистике и

издательском деле. Вспомним и жестокую нравственную коллизию, которую пытался разрешить Достоевский: пошел бы он доносить, если бы ему случайно стало известно о готовящемся заговорщиками взрыве Зимнего дворца? Перебрав множество причин, которые делали донесение о замыслах заговорщиков необходимым, он «обдумал причины, которые не позволяли бы это сделать. Это причины прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком»⁸.

Очевидно, правда, что ответ Достоевского не был принципиальным разрешением актуальной моральной коллизии, поскольку переводил проблему из плана внутреннего (самоопределение индивида в отношении того или иного акта, исходя из его, индивида, системы моральных ценностей) во внешний (приспособление к системе оценок, действующих в обществе). Неудивительно, что многие мыслящие люди России возвращались к трагической «дилемме Достоевского», пытаясь по-своему разрешить ее, однако никто, кажется, не опускался до морального оправдания «общественно-необходимого» доносительства.

Словом, императив власти, сформулированный предельно кратко императором Николаем I: «У меня полиции нет, я не люблю ее: вы моя полиция» — норма для всех подданных, не только для двора, — вступает в противоречие с нормами, вырабатываемыми обществом. Преодоление обществом комплекса неполноценности перед лицом власти создало новые образцы ментальности, в которых доносительству как долгу гражданина перед государством уже не находилось места.

Донос сохраняется как форма корыстной сделки между гражданином и властными институтами, в рамках которой одна из сторон поставляет другой интересующую ее информацию, а та, другая, оплачивает эту информацию в таких размерах, которые

способны поддержать заинтересованность первой в продолжении подобных отношений.

Автоматическое, рефлекторное доносительство, как и доносительство «идейное», сохраняется главным образом как мания отдельных индивидов и в качестве таковой подвергается осмеянию и порицанию. Вспомним здесь блестяще нарисованный Федором Сологубом портрет подобного маниакального доносителя, учителя гимназии Передонова, сочиняющего доносы на всех, от вполне реальных гимназистов до карточных дам; он и несколько равных ему по уровню морали персонажей фактически стоят вне общества; последнее относится к ним с нескрываемым презрением и гадливостью.

В ряды доносителей (помимо людей запутавшихся и порой шантажируемых) попадают теперь люди, в силу тех или иных причин стоящие ниже установленной обществом «планки» моральности, в то время как всего за сто лет до этого доносительством мог заниматься обычный, отнюдь не выходящий за рамки общепринятых нравственных норм человек. М. Горький в «Несвоевременных мыслях» 1917 — 1918 годов описывает раскаявшуюся молодую даму, за колечки и прочие побрякушки доносившую своему любовнику, жандармскому офицеру, на людей, бывавших у нее на квартире. На дворе был май 1917 года, монархия в России пала, дама была совершенно подавлена; ее чрезвычайно беспокоило, что теперь ее фамилия, в числе имен прочих осведомителей царской охранки, будет опубликована. Однако страх ее не пробудил раскаяния, а вызвал лишь сожаления по поводу собственной неосмотрительности: «Кто же мог предполагать, что случится революция?»⁹

Таким образом, донос трансформировался из своего рода государственной необходимости, поведенческого стереотипа, утверждаемого в условиях, когда

государство, власть выступают в качестве единственного субъекта социальной деятельности, в институт, презируемый обществом, в ремесло, принадлежность к которому, как правило, тщательно скрывается индивидом от себе подобных. Произошла своеобразная социальная девальвация доносительства, отчуждение доносительской морали и психологии от общества. Индивид обретал право на свое отдельное, автономное от власти существование, и оно становилось нормой, а не отклонением, предметом бдений потенциальных доносителей, призванных фиксировать любое отклонение от коллективной телесности, сформированной властью и существующей под эгидой власти.

Однако если направленность нравственного вектора в российском обществе XIX века была, в общем, отчетливой и бесспорной, то эмансипация различных сословий и социальных слоев от самодержавной и бесконтрольной власти происходила неравномерно; принятый Петром III в 1772 году «Манифест о вольностях дворянских» начал процесс формирования гражданского общества с высших классов, с дворянства. Вслед за этим на путь высвобождения из объятий власти становится класс торгово-промышленный, купцы и заводчики, затем образованный класс, то, что впоследствии было названо специфически русским словом «интеллигенция»... Для нижней же части общественной пирамиды сословного общества, наиболее зависимой от власти и организуемой при помощи наиболее жестких властных технологий, донос сохраняется как средство слияния индивида с властью на протяжении большей части XIX века.

А.И.Герцен свидетельствует о нетерпимом отношении к доносительству в университетской, студенческой среде. Так, после нашумевшего «маловского дела» (демонстрации студентов против оскорбительного поведения профессора юридических наук М.Я.Ма-

лова в марте 1831 года) один из студентов Московского университета был допрошен своей матерью и, «под угрозой прута», рассказал ей нечто, что, по нравственным установлениям, принятым в университетской среде, рассказывать была никак нельзя. Мать — княгиня, аристократка — бросилась к ректору и передала донос (так определяет, возможно чересчур сурово, поступок юного студента Герцен) сына как доказательство его раскаяния. «Мы узнали это, — резюмирует автор “Былого и дум”, — и мучили его до того, что он не остался до окончания курса»¹⁰.

Известный историк П.А.Зайончковский свидетельствовал, что даже в таких далеко не идиллических по характеру взаимоотношений заведениях, как военные училища и кадетские корпуса, учреждениях, где почти повсеместно, открыто и часто с молчаливого благословения начальства существовала практика, аналогичная нашей «дедовщине» («цук», «подтяжка»), юнкера, будущие офицеры, совершенно нетерпимо относились к доносительству и доносчикам в своей среде¹¹. А.И.Деникин в своей широко известной книге «Путь русского офицера» также рассказывает о случае избиения в военном училище доносчика и последующего его преследования однокурсниками¹² (почти полный аналог воспоминаний А.И.Герцена).

Наконец, последний, достаточно известный пример, свидетельствующий об уровне гражданского и нравственного развития русского общества конца XIX — начала XX века, и в частности об отношении к доносительству. Джунковский, став начальником отдельного корпуса жандармов и узнав, что один из депутатов Государственной Думы является тайным агентом его ведомства, позвонил председателю Думы Родзянко и сообщил ему об этом... Николай II воспретил осведомительную агентуру в войсковых частях, считая ее оскорблением армии. А.И.Солженицын,

приводя этот факт в «Архипелаге ГУЛАГе», прямо связывает его с воздействием общественного мнения:

«С каждым годом просвещения и свободной литературы невидимое, но страшное царям общественное мнение росло, а цари не удерживали уже ни поводьев, ни гривы, и Николаю II досталось держаться за круп и за хвост.

Он не имел мужества для действия. У него и всех его правящих уже не было и решимости бороться за свою власть. Они уже не давили, а только слегка придавливали и отпускали. Они все озирались и прислушивались — а что скажет общественное мнение?»¹³

Вместе с тем разрыв в самоощущении и цивилизованности «образованных классов» и основной массы населения, ориентировавшейся прежде всего на традиционные ценности, был, по-видимому, значительным. А.Н.Энгельгардт в своих знаменитых письмах «Из деревни», публиковавшихся на страницах журнала «Вестник Европы» с 1872-го по 1887 год, писал о масштабах доносительства в деревенской, не столичной, провинциальной России. Причем, насколько видно из контекста, речь идет о новой волне доносительства, связанной не в последнюю очередь с активизацией политической жизни в России в последней трети XIX века, развитием народнического, а впоследствии и социалистического движения...

«Когда появились злонамеренные люди, то развелось такое множество охотников писать доносы, что, я думаю, целые массы чиновников требовались, чтобы только успевать перечитывать все доносы, все хотят выслужиться, авось, либо крайчик пирожка попадет, если открытие сделать. Чуть мало-мальски писать умеет, сейчас доносы пишет»¹⁴.

Местное начальство разбирает доносы о том, что к такому-то помещику тогда-то приходила толпа студентов и что такой-то, тоже, очевидно, помещик,

ходит на деревенские свадьбы, разговаривает с мужиками, расспрашивает о хозяйстве, «восстанавливает против других помещиков»; производится дознание по доносу железнодорожного начальника на двух молодых людей, приехавших на станцию с большим тяжелым чемоданом (потом оказывается, что это детигимназисты местного помещика, которые привезли чемодан с книгами, чтение на лето), и т. д. и т. п.

Иными словами, моральному осуждению донос подвергается в «образованных» условиях, которые так или иначе встали на путь эмансипации от власти (хотя в России этот путь, в силу многих причин, был и тяжел и долог), начали превращаться в ядро будущего гражданского общества. Мещанство и значительная часть крестьянства пребывает между тем в моральной архаике, являющейся прежде всего следствием того, что структура их связей с существующей властью принципиально не изменилась (даже реформа 1861 года, освобождение крестьян, не успела ее кардинально изменить). Вот это мещанское, «плебейское» доносительство, *не* попиравшее морали соответствующих сословий и социальных групп, опиравшееся на архаический, холопский «здравый смысл», на инстинкт самосохранения перед лицом власти, и стало, как мне кажется, одним из «источников», исторических предпосылок той вакханалии доносительства, которая нарастала и усиливалась по мере превращения России в тоталитарное государство после 1917 года.

2. Совокупление с властью: донос в тоталитарном обществе

Уже революционные и предреволюционные эпохи, периоды социальной и, надо, наверное, добавить, нравственной нестабильности дают всплески доносительства, стимулируемые реально происходящей или

эвентуальной — ожидаемой, предвосхищаемой — сменной власти. А.В.Пешехонов, один из лидеров трудовой народно-социалистической партии, вскоре после Февральской революции 1917 года ставший членом исполкома Петроградского Совета и комиссаром (своего рода «префектом») Петроградской стороны, вспоминал:

«Если одни сами захватывали и тащили в комиссариат своих политических противников, то другие ждали этого от комиссариата. Нас прямо осаждали с требованиями обысков и арестов. Не менее того донимали нас доносчики. Стоишь, бывало, в толпе, а кто-то тащит тебя в сторону и шепчет, что такой-то поп сказал контрреволюционную проповедь. Другой самовольно вручает список квартир, в которых, по собранным им сведениям, имеются спекулятивные запасы; третий многозначительно сует в руки бумагу, в которой, как оказывается, подробно изложено, что секретарь такого-то учреждения, собрав в одну комнату некоторых служащих и закрыв дверь, имел с ними, несомненно, контрреволюционное совещание. Иногда, возвратившись ночью домой, я набирал в своих карманах целую пачку таких доносов»¹⁵.

Аналогичным образом описывает последние дни накануне взятия власти большевиками Троцкий:

«На третьем этаже Смольного, в небольшой угловой комнате непрерывно заседал Комитет (Петроградский военно-революционный комитет. — С.К.). <...> Осведомители являлись со всех сторон. Приходили рабочие, солдаты, офицеры, дворники, социалистические юнкера, прислуга, жены мелких чиновников. Многие приносили чистейший вздор, некоторые давали серьезные и ценные указания. <...> Надвигалась решительная минута. Было ясно, что возврата нет»¹⁶.

Очевидно, в воспоминаниях Пешехонова описана весьма редкая и своеобразная ситуация: достаточно традиционные для России технологии власти на

какое-то, очень непродолжительное, время утратили соответствующую опору в системе властных институтов. Старые институты уже не могли действовать должным образом — их политическая ориентация была неприемлема для инициаторов Февральской революции — создание же новых институтов власти, «ведавших» технологиями доносительства (ЧК и т. д.), могло быть начато лишь после окончания периода революционной неопределенности — с 25 октября 1917 года (что и зафиксировано в воспоминаниях Троцкого).

Забегая вперед, замечу, что и закат тоталитарной системы был связан с аналогичным всплеском доносительства (и, отчасти, сходной недееспособностью соответствующих институтов власти): 19 августа 1991 года, в первый день небезызвестного путча, почти во все территориальные организации КГБ звонили люди и доносили или, проще говоря, «стучали» на соседей, сослуживцев, допереворотных друзей, даже на тех, кого просто видели по телевизору. Нечто подобное имело место и после подавления путча и ареста его инициаторов: звонили и сообщали уже люди, вдохновлявшиеся «демократическими» идеалами.

Наверное, все же прав был Ф.Ницше:

«К сожалению, из исторического опыта известно, что всякий... переворот снова воскрешает самые дикие энергии — давно погребенные ужасы и необузданности отдаленнейших эпох; что, следовательно, переворот хотя и может быть источником силы в ослабевшем человеке, но никогда не бывает гармонизатором, строителем, художником, завершителем человеческой природы»¹⁷.

Доносительство в тоталитарных системах, аккумулируя все множество известных ранее видов доноса и соответствующих им мотивов и стимулов, приобретает

вместе с тем и некоторые принципиально новые черты.

Разумеется, сохраняется корыстное, «иудоморфное» доносительство как исторически наиболее древний, непреходящий тип. Правда, новая, сначала революционная, а затем «социалистическая» власть уходит от таких формальных, «буржуазных» способов расплаты с доносителями, как денежные выплаты из соответствующих фондов. Стимулом становится имущество потенциального объекта доноса, порой весьма скудное, его жилплощадь, служебная должность, на которую метит доносчик, или, почти как в «Графе Монте-Кристо», невеста или жена (вспомним здесь, кстати, и сюжетную канву «Двух капитанов» В.Каверина), наконец, чисто по-русски, доносят за бутылку водки. (Вспоминается, кстати, грустный сарказм писателя Ильи Ильфа: «Композиторы ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге».)

Правда, есть одно обстоятельство, настолько серьезное, что позволяет нам считать подобный феномен уже не столько индивидуальным, сколько социальным. Ибо общество, декларирующее свой переход к социализму, коммунизму и т. д., неизбежно есть общество, культивирующее уравнительную идеологию, идеологию, одной из фундаментальных социально-психологических опор которой является чувство зависти. Зависть неотделима от уравнительности, это не раз уже было отмечено, — и следовательно, уравнительность неизбежно подготавливает почву для наиболее примитивно мотивированного, корыстного, «холопского» доносительства.

Но зависть — это все-таки наиболее банальный мотив. «Плебейское» доносительство наиболее безжалостно и агрессивно, возможно, даже не в отношении преуспевающих, сытых, «богатых», а в отношении

представителей иной культуры, иной социальной среды, в отношении «социально чуждых» как таковых. Причем, социально чуждый — это вовсе не обязательно более богатый, более благополучный; скорее, это «не-такой-как-я». Приведу один характерный пример:

*«Председателю Петрогубисполкома
от красноармейца быв. отряда
Гдовского уезда Комдезертир
Степана Евдокимовича Лакисова*

Прошу Вашего распоряжения вычистить наш Исполком Гдовского уезда, потому что туда засели не те, кому следует, засели туда духовенство: дьячок и его сын и попова дочь, и бывшего купца дочь Евдокима Михайлова, потому что делают они все не так, как надо, и потому таких людей у нас в Советской России не должно быть, они не есть защитники рабочих и крестьян. По приходу Юденича они ясно и открыто говорили, что теперь они Вам покажут. Когда мои братья ушли из деревни с красными полками, [то] через таких людей их дом был сожжен, и в то время, когда были белые, то эта попова дочка вынуждала крестьян ездить с нею в Гдов в театры, за которой я ездил сам лично, и потому прошу обратить внимание и на Гдовский уездисполком, так что я неоднократно подавал заявления, но ответа не получал от них, никакого результата не добился, они теперь не обращали никакого внимания, в чем и подписуюсь.

Лакисов. 12 марта 21 г.»¹⁸ .

Из приведенного текста очевидно, что чуждое социальное происхождение («попова дочь») и контрреволюционные симпатии генералу Юденичу почти равнозначны в сознании «бывшего красноармейца бывшего отряда» непонятной, не укладывающейся в рамки привычного здравого смысла, чуждой социокультурной поведенческой модели: «вынуждала крестьян ездить с нею в Гдов в театры».

Мощнейшим стимулом доноительства продолжает оставаться страх. Страх, что кто-то донесет раньше тебя, и ты, следовательно, будешь заподозрен в укрывательстве, пособничестве, сообщничестве, в крайнем случае в симпатии к врагам власти и народа. Фраза из известного сериала «Семнадцать мгновений весны»: «Вы сами позвоните в гестапо, или это сделаю я?» — в сущности, вполне исчерпывает подобного рода психологические коллизии.

Однако, как это ни чудовишно, в стране пролетарской диктатуры и победившего социализма продолжают действовать и средневековые правовые нормы, считающие недоноительство уголовно наказуемым деянием. Недоноительство было обычным обвинением в сталинскую эпоху: в Уголовном кодексе РСФСР, в печально знаменитой статье 58 был пункт 58-12, предусматривающий довольно жестокое (вплоть до высшей меры) наказание за «недонесение». Примеров того, что это была статья действующая, можно было бы привести множество.

При этом тоталитаризм существенно изменяет систему взаимоотношений индивида и власти, саму структуру личности, всю сумму мотивов, обуславливающих человеческие поступки. В сущности, донос из рутинной обязанности подданного, столь же обыденной, как, например, барщина для крестьянина или государственная служба для дворянина, как уплата подати податным сословием, и из специфической, систематической, материально стимулируемой, почти профессиональной деятельности превращается в средство растворения подданного в политическом теле власти, в способ эмоционально окрашенного отречения от собственной сущности, квазирелигиозного, культового слияния с некой высшей субстанцией. Отречение это связано с фундаментальной внутренней потребностью в постоянном и гарантированном

воспроизводстве всей системы отношений с этой высшей субстанцией вместе со всей присущей этим отношениям патриархальной сентиментальностью.

И власть в свою очередь стимулирует доносительство не столько как средство выявления подлинных и мнимых своих противников, сколько как символ сентиментального восхищения ею и поклонения ей со стороны подданных.

Справедливости ради следует отметить, что элементы подобного рода сентиментализма существовали и в условиях авторитарного правления: деспот, в какой бы системе властных отношений он ни находился, требует от подданных не только послушания, но и любви, благоговения. Русский историк Н.И.Костомаров однажды сказал о Петре I: «Мало казалось того, что все должны были исполнять его приказания: все должны были желать того, что он желает, любить то, что ему нравится; иметь иной вкус, чем у него, — было уже преступление»¹⁹. А поскольку Петр «считал себя одного умнее всех русских людей» (я продолжаю цитировать Костомарова), то наиболее естественным и достойным любви объектом оказывался сам император; нелюбовь к нему была не менее страшным преступлением, нежели самое серьезное нарушение самых суровых законов.

По мере того, как российское общество взрослеет, монархи становятся не столь требовательными в отношении выказываемых народом эмоций, хотя, надо сказать, нелюбовь общества их, безусловно, раздражает и угнетает (вспомним Николая II и императрицу Александру Федоровну).

Утверждение тоталитарной системы представляет собой в известном смысле возвращение к структурам, предшествующим гражданскому обществу, где сословия были «прикреплены» к государству, своего рода «регрессивную метаморфозу». Общество, находящееся

в процессе дифференциации, выявления множества частных, групповых интересов, вновь попадает под молох «всеобщего интереса», и единственной формой выражения гражданских чувств остается доказательство своей преданности некоей субстанции, присвоившей себе право говорить от имени «всех», формулировать и переформулировать этот «всеобщий интерес». Донос превращается в одну из форм выражения подобного рода гражданственности, явственно окрашенную в цвета политического сентиментализма.

Причем власть систематически и целенаправленно создает новую модель «сентиментального» политического доносительства, новые стереотипы политического поведения. В частности, один из образцов появился в результате обработки сталинской пропагандой дела об убийстве Павлика Морозова, побудительным мотивом для которого, как это сейчас очевидно, была не пионерская «преданность идеям», а вполне приземленное стремление «посадить» отца, оставившего семью и ушедшего к другой женщине. (В этом смысле «подлинный» Павлик Морозов — это скорее Руслан Чутко, герой фильма А.Миндадзе и В.Абдрашитова «Плюмбум»; он — действительно революционный идеалист и борец за справедливость, порождение системы, дитя классовой морали.) Но дело ведь не в том или ином конкретном Павлике; дело в том, что общество становится обществом таких вот «Павликов».

Композитор Николай Каретников рассказал однажды любопытный случай: в коридоре Московской консерватории столкнулись два студента (впоследствии — два известных композитора), и один из них сумел углядеть на ходу, что его визави несет в пачке нот две партитуры нелюбимого тогдашней властью Стравинского. «Правильный» студент немедленно спешит в деканат и докладывает об увиденном. «Пойманный», «изобличенный» каким-то образом

отделался проработкой, но избежал худшего. И в тот же день пострадавший изловил во дворе консерватории доносчика, сунул его головой в снег и, как свидетельствовал Каретников, периодически нанося ему удары «пониже спины», приговаривал: «Будешь доносить?!» А тот из сугроба вопил: «Буду! Буду!» И, как впоследствии оказалось, слово свое сдержал²⁰. Так что сентиментальность массы так же неслучайна в этом тоталитарном мире, как и страх: и то и другое взращивается властью.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что технология доноса остается эффективной даже в наиболее критические для системы моменты, как, например, осенью и зимой 1941 года, когда войска германского вермахта стояли на ближних подступах к Москве. Именно в эти дни городская партийная организация принимает постановление «Задачи партийной организации по выполнению решения правительства о наведении революционного порядка в городе Москве», где, в числе прочего, ставится задача «правильно построить взаимоотношения с общественностью» и констатируется:

«Там, где это хорошо поставлено, мы имеем такие заявления граждан в Райкомендатуру:

1. Мать родная заявила на сына, что он дезертир;
2. Брат о брате сообщает;
3. Сосед о соседе и вообще информирует положение дел в их доме и дворе»²¹.

И далее вывод:

«Это и есть не что иное, как величайшее патриотическое чувство»²².

В тоталитарном обществе появляется и своеобразная поэтика политического доноса. Единичное в контексте такой поэтики превращается в множественное, более того, оно становится символом, звеном в

цепи глобального заговора совокупного классового врага. Воплощение политического сатанизма, фигура коварного и безжалостного «врага», злобно скалящая зубы со страниц политических доносов времен не столь уж отдаленных, по силе и выразительности вполне сопоставима с мифологическими образами Минотавра и Левиафана.

Блестящую стилизацию доноса 20-х — 30-х годов, со всеми типичными родовыми признаками, как-то: революционный пафос, трансформация фактов повседневной жизни в акты политической и идеологической контрреволюции, сочетание тоталитарного новояза с сумбурной речью малограмотного люмпена, наконец, закомплексованность и агрессивность социального аутсайдера, мы находим в повести М.А.Булгакова «Собачье сердце».

«Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. "...а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П.П.Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин» .

Булгаков знал, о чем он пишет: сохранились доносы осведомителей ОГПУ 1925 — 1926 годов, характеризовавших творчество Булгакова, и в частности повесть «Собачье сердце», фрагмент из которой был приведен выше. Стилистика этих донесений чрезвычайно близка к тональности «председателя домкома», хотя и не столь живописна. Но если в литературной

стилизации писателя наличествует хотя бы один конкретный факт — сожжение книжки Энгельса, — то в подлинных агентурно-осведомительских сводках обвинения носят еще более расплывчатый характер: «...вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах» и т. п.²³

Вскоре страну охватывает настоящая мания доносительства. Мы, наверное, никогда не узнаем, сколько было написано доносов, скажем, в 1936 — 1937 годах, сколько доносов приходилось тогда на среднестатистическую душу населения. А.Жданов говорил на XVIII съезде ВКП(б) о человеке, который написал сто сорок два ложных доноса (хотя, в сущности, неясно, где в то время пролегла грань между ложным и не-ложным доносом). Он же поведал съезду о том, как исключение из партии и незаконный арест одного человека привели к исключению его жены и еще семи человек из партии, двадцати восьми — из комсомола и увольнению с работы десяти учителей. Приводилось множество других примеров калькирования доносов «ударниками» этого фронта, использования доноса или угрозы доноса как средства шантажа и т. д. Впечатление такое, что некоторые деятели из сталинского окружения сами были поражены масштабами возрожденного ими феномена, стремились, что называется, «притормозить» инерцию доносительства, которая, в свою очередь, заставляла работать на полную мощь страшную машину террора. Однако террористическая машина вырвалась из-под контроля и действовала по своей собственной логике. «Террор, — констатировал Р.Конквест, — уже начал развиваться по своим собственным законам и нес сотрудников НКВД вперед»²⁴.

Функционирование власти становилось все более иррациональным; создавалась совершенно абсурдная ситуация, когда вполне нормальным людям начинает

казаться, что остановить вакханалию доносительства и террора можно, лишь оговорив как можно больше людей, оговорив всех окружающих, ибо все не могут быть врагами по определению, это абсурд и несурязица, власть должна прозреть, увидев, что все поголовно подданные оказываются врагами. «Чем больше, тем лучше — скорее все разъяснится»²⁵, — приводит генерал Горбатов слова одного лагерника, оклеветавшего, по его собственному признанию, чуть ли не триста человек. (Возможно, именно эти слова из книги репрессированного в годы «большого террора» и реабилитированного в канун войны генерала стали первоосновой одного из самых сильных эпизодов фильма Т.Абуладзе «Покаяние».)

Общество становится обществом без общественной морали; мораль превращается в феномен индивидуального сознания, причем давлению официальной аморальности способно сопротивляться лишь сильное, самостоятельное индивидуальное сознание. Однако и оно постепенно ломается, перемалывается, превращаясь лишь в некую емкость, которую власть наполняет и которой манипулирует по своему произволу: индивидуальное сознание дезинтегрируется, расплавляется в тигле тоталитарной власти. В иных случаях власть попросту перемалывает самих обладателей независимого или недостаточно зависимого сознания.

Более того, люмпенизация и деиндивидуализация общества приводят к появлению нового вида доноса, в котором индивидуальность осуществляет полное саморастворение в политическом теле власти, полное самоуничтожение именно как индивидуальность: речь идет о *доносе на себя*. По форме этот вид доносительства несколько отличается от «сигнализирования» в разного рода органы и инстанции, прежде всего, видимо, потому, что его генетическая природа иная: он вырастает из так называемой *большевистской само-*

критики (хотя, возможно, здесь стоит вспомнить и традицию религиозного покаяния). Однако на определенном витке развития тоталитарных структур всякие сколько-нибудь существенные различия между доносом и «автодоносом» стираются, тем более что мотивация самодонительства сходна с мотивацией «классического» доноса: донести быстрее, пока о том же не донес другой.

Позволю себе привести несколько весьма характерных образцов того, что я рассматриваю как самодонительство. В 1936 году некто Левенцов донес о своем разговоре в гостиничном номере с неким Карповым. Последний, по утверждению доносителя, подбивал его, Левенцова, прочесть те места из книги товарища Сталина «Об оппозиции. Статьи и речи» (издание 1927 года), где излагаются взгляды оппозиционеров, все то, что связано с «завещанием Ленина», включая ставшее потом знаменитым «Сталин груб» и исходившие от Ленина предложения о перемещении Сталина с поста генсека. Но доноситель, не чувствовавший себя в безопасности и после доноса, счел своим долгом дополнить вышеизложенное следующим саморазоблачением:

«Кроме изложенного, считаю своим долгом со всей большевистской искренностью заявить райкому ВКП(б) о своем небольшевистском поступке в следующем деле — вечером 17 февраля после работы в 12 часов ночи в буфете станции Спасдеминск в присутствии члена партии товарища Литвинова я взял для себя ужин, так как все столовые в городе были закрыты, и взял одну четвертую вина (портвейн), выпил полстакана и угостил вошедшего ко мне Карпова»²⁶.

Очевидно, товарищ Левенцев достаточно хорошо понимал реалии середины 30-х годов и вовсе не склонен был ждать, пока товарищ Литвинов составит соответствующую бумагу про них с Карповым...

А вот несколько более ранние фазы этой социальной патологии: приведу письмо в редакцию научного журнала, подписанное одним известным ученым и датированное 1931 годом:

«Уважаемые товарищи! На днях, к своему крайнему удивлению и возмущению, я получил авторские экземпляры изданного Белорусским Госиздатом моего «Очерка философии диалектического материализма».
<...>

Я решительно осуждаю это издание. «Очерк» никоим образом не отвечает требованиям, которые должны быть в настоящее время предъявлены к подобному изданию, и не выражает настоящих взглядов автора. «Очерк» не находится на уровне ленинского этапа в развитии марксистской философии. Написанный задолго до того, как нашей партией была до корней разоблачена меньшевистствующе-идеалистическая сущность «деборинской школы», «Очерк» не ведет борьбы *на два фронта* в философии. Теоретические вопросы не увязаны с актуальными задачами социалистического строительства и защитой генеральной линии нашей партии. <...> «Очерк» дает меньшевистствующе-идеалистическое решение важнейших вопросов философии. <...> Белгосиздат, выпустив в свет «Очерк» *после* исторического постановления ЦК ВКП(б) от 25/1 1931 г. («О журнале «Под знаменем марксизма»». — С.К.), несомненно обнаружил отсутствие партийной бдительности (плавный переход от жанра автодоноса к доносу традиционному. — С.К.) и снабдил белорусских читателей ошибочной, негодной книгой, не дающей правильной ориентировки в вопросах марксистско-ленинской философии и не мобилизующей на борьбу за генеральную линию партии»²⁷.

Этот пример свидетельствует, помимо всего прочего, еще и о том, что доносительство в тоталитарном обществе приобретает новое качество — качество публичности, часто превращаясь при этом в идеологический акт. Доносы (в духе нового революционно-

классового канона, то есть не забывающие ближайших родственников) публикуются в газетах (вплоть до «Пионерской правды»!). Публикуются списки репрессированных по доносам и тут же — имена героев-доносителей. Власть начинает понимать, что донос, материализовавшийся на страницах газеты или журнала, особенно официального (а в тоталитарном государстве нет иных средств информации, кроме официальных), придает маховику репрессий неодолимую инерцию, поскольку затрагивает не только присущее власти чувство самосохранения и политической сентиментальности, но и весьма чувствительные структуры массового сознания, аналогичные структурам сознания самого доносителя. Компромат, воспринятый властью, есть потенциальный приговор; компромат, проглоченный массовым сознанием, слепленным и манипулируемым этой властью, есть не только превращение этих потенций в реальность, но и форма легитимации самой репрессивной власти.

Кроме всего прочего, публичность доноса вызывает страх — помимо обычного страха перед властью появляется еще и страх перед конкретным доносителем. Публичный акт доносительства растворяет доносителя в лоне власти и тем самым как бы проецирует на личность доносителя ее грозный ореол. Страх перед возможностью доноса и страх перед живым, во плоти и крови, доносчиком, предстающим перед окружающими как бы агентом, порученцем власти, — эмоции сходные, но в то же время не идентичные. И эта неидентичность умножает суммарный эффект страха, подобно тому как параллельное применение двух антибиотиков многократно усиливает эффект их воздействия на организм. Не случайно Павлик Морозов (согласно его жизнеописаниям, причем вполне апологетическим жизнеописаниям) после доноса на родного

отца несколько месяцев разгуливал по деревне, наводя ужас на взрослых, многое повидавших односельчан²⁸.

Параллельно с превращением доносительства в род публичной общественно полезной деятельности происходит героизация доносительства: Павлик Морозов, Мишакова, «разоблачившая» «врагов народа» в комсомоле, Лидия Тимашук, с легкой руки которой (во всяком случае, по официальной версии) началось печально известное «дело врачей», превозносятся, награждаются, канонизируются, объявляются примером для подражания; о них слагаются поэмы и песни; в полном соответствии с законами мифа, «подвиги» героев приумножаются (так, чтобы сделать облик Павлика Морозова *еще более* героическим, к его реальным доносам были добавлены доносы, которых он, очевидно, и не делал); обласканные властью доносители становятся объектом зависти многих добросовестных, но безымянных героев невидимого эпистолярного фронта.

Любой процесс имеет свою внутреннюю логику, и, следуя этой логике, доносительство, становясь публичным и отвоевывая себе все новые и новые сферы, растекалось за пределы средств массовой информации, охватив литературу, науку... Историк Михаил Геллер как-то с горечью сказал о трансформации исторической науки в советском обществе: «История пишется в форме доноса...»²⁹ Если это и преувеличение, то преувеличение, имеющее веские основания. Во всяком случае, на протяжении нескольких десятилетий историки (и не только историки) усердно занимались выявлением в работах друг друга «троцкистской контрабанды», «гнилого либерализма» и тому подобных ужасов. И если М.Геллер не прав на все 100 процентов, то «виновна» в этом никак не существовавшая в нашей стране структура власти, а те не столь уж многочисленные представители интелли-

генции, которые находили в себе силы сопротивляться идеологическому и моральному диктату этой власти.

3. Донос в бюрократической системе: фикция властопоклонства

После смерти Сталина в нашей стране начался процесс трансформации политической системы: утратив тотальность контроля над всеми сферами жизни, она превращается сначала в жесткую «административно-командную», а затем, по мере того как бюрократия становится из инструмента этой системы корпорацией, сознающей свой собственный групповой интерес и способной его отстаивать, — в бюрократическую систему, несущую, правда, на себе отпечаток еще не преодоленного тоталитарного прошлого.

Параллельно с процессом эволюции системы власти изменяется и феномен доноительства. Донос уже не функция всепроникающего страха или способ растворения индивида в политическом теле власти, как в тоталитарном обществе, и не рационально контролируемая деятельность, профессиональная или полупрофессиональная, но во всех случаях производящая некий конечный продукт, являющийся товаром, как в авторитарных системах. Скорее, доноительство становится предпосылкой успешного существования индивида внутри бюрократических структур, в значительной степени еще контролируемых институтами, созданными тоталитарным режимом. Соучастие в доноительстве, осведомительство становятся условием карьеры, таким же, как, скажем, личные и родственные связи, образование или партийность.

Уходит в прошлое самодоноительство — порождение разрушенного постоянным страхом и политической экзальтацией сознания. Исчезает героизация доноительства; славят лишь тех граждан, кто своей

бдительностью способствовал задержанию иностранных шпионов или агентов западных спецслужб. Но уже сложно стать национальным героем, отправив, как говорят, «телегу» на своего непосредственного начальника или руководителя ведомства. Донос становится винтиком в огромной канцелярской машине, донос бюрократизируется. Появляются новые, гротескные, но вполне соответствующие эпохе формы политического доноса, вроде справок о «политической неблагонадежности». Чтобы удостоиться такой справки, достаточно было, например, «плохо отозваться о деятельности Л.И.Брежнева» или предположить, что уровень жизни у нас в стране ниже, чем в некоторых других. Подобного рода справки-характеристики на «неуживчивых» людей направлялись не Туда, Куда Надо (заимствуем термин у писателя В.Войновича), а хранились по месту работы и предъявлялись, например, комиссии, приезжавшей на предприятие по жалобе впавшего в немилость индивида.

Впрочем, своего рода «качественное» преобразование доносительства отнюдь не означало свертывания институций, выросших над доносом как специфической технологией власти. В конце концов, 60-е годы были началом диссидентского движения в стране, и это не могло не наложить отпечатка на всю машину слежки и доносительства. Небезынтересно в этом отношении мнение одного из людей, на протяжении многих лет весьма близко стоявшего к высшим эшелонам партийной власти, академика Г.А.Арбатова.

«Хотя непосредственной мишенью антидиссидентской политики были сотни, может быть, тысячи людей, их выявление и преследование потребовали активизации всей деятельности органов, называемых “тайной полицией”, внедрения во многие ячейки общества дополнительной агентуры, собирания и поощрения доносов, перлюстрации переписки, подслушивания теле-

фонных разговоров, — пишет он. — Это не могло пройти незамеченным; подслушивания, подглядывания, доносов начинали опасаться все — обоснованно или нет, в данном случае не так уж важно, включая весьма высокопоставленных людей. Не раз ответственные работники ЦК КПСС, даже секретари ЦК, когда разговор в их кабинете становился острым, поглядывали на телефон, делали красноречивый жест — прикладывали палец к губам — и переходили на другую тему. Для таких страхов, наверное, были веские основания. Несколько довольно известных наших журналистов, как ходили слухи, говоривших что-то “не то” (скорее всего, лично о Брежневе — это было самое опасное) и попавших, как это называли, “под технику”, тут же были уволены с работы. То же самое, рассказывали, произошло с ответственными работниками КГБ»³⁰.

Кстати, Арбатов рассказывает о своем разговоре с Ю.В. Андроповым по поводу перлюстрированного письма одного из своих близких друзей. Андропов сказал, что теперь вынужден будет показать письмо Брежневу, а на попытку отговорить — зачем рассказывать, зачем показывать — заметил:

«Я не уверен, что копия этого письма уже не передана Брежневу. Ведь КГБ — это сложное учреждение, и за председателем тоже присматривают. Тем более, что есть люди, которые рады будут его скомпрометировать в глазах руководства тем, что он от Брежнева что-то утаил, да еще касающееся его лично»³¹.

И тем не менее — это доносительство в дряхлеющей системе, озабоченной уже не осуществлением массового террора, а мелкими политическими интригами и ничтожными по масштабам (по сравнению со сталинскими) попытками запугать интеллигенцию. Часы истории медленно, но неумолимо отсчитывают время этой системы; история подчеркнута не спешит, как бы задавшись целью показать по одному на фрон-

тоне Дома Союзов все портреты, во время политических праздников вывешиваемые в ряд, «строим».

Донос продолжает свое существование прежде всего как партикулярный политический донос (как говорил Ф.Ницше, вылепим скверное слово для скверной штуки). Партикулярный донос остается столь же неразрывно вплетенным в ткань повседневной советской жизни, как и в крутые сталинские времена. В свое время газета «Московский комсомолец» опубликовала тексты некоторых документов такого рода, составленных студентами МГУ и касавшихся их товарищей. Эти рапорты-доносы, адресованные в ОКО — оперативный комсомольский отряд МГУ, датируются 1988 годом и, возможно, способны повергнуть в состояние шока тех, кто склонен был полагать, что с началом перестройки чудовищное прошлое советской системы осталось за горизонтом исторического времени.

«Командиру ОКО при
комитете ВЛКСМ МГУ <...>
от сотрудника ОКО <...>

Рапорт

Довожу до вашего сведения:

1. В последнее время в общежитиях ходили разговоры, что через две недели или позднее состоится выставка работ местного художника-авангардиста Сидорова.

2. По данным нашего стажера Жабина, студент 1-го курса философского факультета А.Кадейкин отличается чертами, не вполне типичными для советского студента:

а) Поддерживает тесные контакты с Сидоровым и прочими хиппи, причем на религиозной почве.

б) Состоит на учете в КГБ.

в) Контактничал через кафе “Турист” с журналистом Юрием Шекочихиным, прославившимся в

“Литературной газете” глубокими симпатиями ко всем альтернативным движениям...»³²

«... от стажера ОКО МГУ <...>

Рапорт

Сообщаю, что вчера, куря на лестнице, я увидел у парня из нашего общежития журнал эмигрантской направленности “Грани” № 78. Титульный лист и обложка оторваны, примерные размеры 20×13 см, бумага тонкая, толщина журнала около 1 см. Отличительная черта этого номера та, что в нем напечатана “Сказка о Тройке” братьев Стругацких.

Я узнал фамилию человека, давшего журнал этому парню. Это Ю.Тумаев, студент 114-й гр. физфака МГУ.

Считаю необходимым познакомиться с Тумаевым и попытаться осторожно узнать у него, как ему попал в руки этот журнал (под предлогом, что мне хочется прочитать “Сказку о Тройке”)³³.

«...от сотрудника ОКО МГУ <...>

Рапорт

Во время обходов (! — С.К.) студгородков МГУ отметил, что студенты взбудоражены, много разговоров о Ельцине. Часто высказывались мнения, что с Ельциным “поступили нехорошо” и что “если доклад не напечатают (речь, видимо, идет о выступлении Ельцина на пленуме ЦК КПСС в октябре 1987 года. — С.К.), то это покажет, какова наша демократия”. Разговоры вели неизвестные мне студенты. Не видел, чтобы этих студентов кто-то обрывал»³⁴.

В доносах, хронологически принадлежащих периоду перестройки, но исторически относящихся к брежневской, «застойной» эпохе, поражает, помимо всего прочего, ничтожность, мелочность обвинений, почти канцелярский педантизм (журнал без обложки 20×13 см и толщиной в 1 см) и канцелярский же стиль («отличается чертами, не вполне типичными»). Ощущение такое, что авторы этих произведений немало

поднаторели в составлении различного рода отчетов, протоколов и характеристик, деятельности, столь *типичной* для нашего комсомола. «Неблагонадежные» студенты обвиняются не в организации покушений на товарищей Сталина, Молотова и Ворошилова, не в контрреволюционном троцкистском заговоре — речь идет, в сущности, о пустяках, о действиях, даже ненаказуемых с точки зрения тогдашнего законодательства, зачастую просто о настроениях и разговорах. Однако для развращенной десятилетиями произвола власти нет существенной разницы между деянием и настроением, мнением; негативное отношение к существующей власти и есть деяние, и притом преступное, преступное именно с точки зрения власти (точка зрения закона остается если не фикцией, то условностью). А это отношение может быть обнаружено и в теме разговора, и в интонации, и в тоне. («Вот за этот тон меня и казнят», — говорит один из героев В.Набокова.) Отсутствие пафоса и поэтики в такого рода вырождающемся, бюрократизировавшемся доносе очевидно; но ведь пафос и поэтика суть категории, немислимые вне аудитории, как немислим театр без зрителя. Отсутствует и экзальтация, сильные страсти (зависть, ненависть, параноидальная вера в утверждение — посредством обращения в инстанции — высшей истины и социальной справедливости — все то, что проистекает из ощущения растворенности индивида в теле власти). Легендарные доносители сталинской эпохи выглядят на сером фоне бюрократического доноса фигурами почти шекспировскими...

Маркс когда-то заметил: сущность бюрократии есть тайна. И действительно, присущий тоталитарной власти открытый культ доноительства и стимулирование его публичных форм постепенно уходят в прошлое. Донос и все то, что касается взаимоотношений власти с ее верными «помощниками», смещается в

сферу тайного; публичный донос оказывается не в духе эпохи. Право публичности сохраняется только за идеологическим доносом (и то в смягченных формах, поскольку бюрократия в силу самой своей природы привержена — после социально-политического самоутверждения, разумеется, — не к резким политическим и идеологическим катаклизмам, а к поддержанию выгодного для нее статус-кво).

Однако наряду с «традиционными» формами существуют и некие превращенные формы, где донос существует лишь как одна из составляющих, один из формообразующих признаков, наряду с элементами других литературных жанров. Появляется специфического толка публицистика, апеллирующая одновременно и к карательным институтам власти, и к общественному мнению.

Власть на газетные разоблачения многочисленных «умыслов» против нее, власти, реагировала в целом вяло. Хотя еще неизвестно, не представляет ли собой факт не востребованности разного рода публичных идеологических демаршей властью ситуацию своеобразного «отложенного спроса»... Безусловно, временной разрыв между актом доносительства, поступлением его в машину власти, и реакцией этой машины увеличивается; не исключено даже, что он, этот разрыв, становится столь значительным, что реакция власти, во всяком случае видимая для субъекта (и одновременно — объекта доноса), не будет иметь места. Но можно предположить и то, что машина, привычно всасывающая яд доносительства, до поры лишь аккумулирует внутри себя уже известную нам из истории сокрушительную репрессивную энергию, которая может выплеснуться непосредственно после завершения очередной либеральной полосы развития нашего общества.

Так или иначе, но из некоей всеобщей обязанности, эманации поддерживаемого на высоком уровне состояния *бдительности* к возможным проискам классового врага (что вменялось в обязанность всему населению державы) донос становится (оговорюсь — в основном) функцией лишь некоего слоя людей, скромно именуемых «помощниками» (именуемых так, естественно, теми, кому они помогают) или «сексотами» (всеми остальными). О численности «помощников» судить весьма затруднительно, тем более что нам предлагают принять версию, согласно которой «на протяжении всей истории советских органов госбезопасности деятельность помощников не оплачивалась»³⁵, и, следовательно, даже если когда-то станет достоянием гласности бюджет соответствующих ведомств, судить о числе добровольных и бескорыстных сотрудников будет невозможно. В этой ситуации аналитикам приходится использовать разного рода косвенную информацию и метод сопоставления, а также помнить о том, что едва ли не все граждане в определенных условиях вынуждены были включаться в деятельность, весьма недалеко отстоящую от деятельности тайных «помощников» (А.Зиновьев вполне обоснованно вспоминает в этой связи отчеты, составленные всеми советскими гражданами, побывавшими за границей³⁶). Аналогичная практика отчетов была обязательной и для гидов «Интуриста»³⁷.

И тем не менее определенные предположения сделать вполне возможно. Скажем, согласно опросу, проведенному в 1991 году еженедельником «Аргументы и факты» по выборке, представляющей городское население РСФСР, Украины и Белоруссии, на вопрос: «Обращались ли к вам лично сотрудники КГБ с предложением о сотрудничестве?» — положительный ответ дали 7% опрошенных³⁸. После «бархатной революции» 1989 года в Чехословакии новыми властями

страны были разобраны сохранившиеся архивы местной службы безопасности; было установлено, что в качестве осведомителей с этим ведомством сотрудничало около 140 тыс. человек. Один из журналистов, постоянно занимающихся этой темой, попытался (в первом приближении) прикинуть, какова (учитывая колоссальную разницу в численности населения) аналогичная цифра у нас; сопоставив численность населения маленькой Чехословакии с нашими советскими 280 млн. (соотношение примерно один к двадцати), он пришел к выводу, что число «официально» (не самостоятельно) действующих осведомителей должно составлять порядка двух миллионов восьмисот тысяч человек...

Бюрократизация доноса, лишение его присущего ему ранее революционного пафоса, превращение доносительства из всеобщего феномена, функции всего общества, в эманацию определенной законспирированной, в той или иной степени институционализированной структуры заставляет нас переосмыслить значение феномена доносительства в эпоху «большого застоя». Донос перестает быть средством совокупления «масс» и власти. Он превращается в средство сокрытия фиктивности официально декларируемых связей между властью и обществом. Подобно, например, тому, как «письма трудящихся», к которым в трудный момент привыкла апеллировать власть, являются индикатором фиктивного общественного мнения и средством сокрытия подлинного, донос (а также презумпция добровольности доносительства) является обозначением фиктивного отношения «народа», «масс» к власти и инструментом сокрытия их подлинных взаимоотношений. Донос перестает быть способом слияния, совокупления «масс» (или индивидов, превращенных в массу) и власти. Власть, в сущности, совокупляется сама с собой, ибо пресловутый институт

«помощников» выступает как структура власти, а не как атрибут гражданского общества и тем более не как миниатюрный слепок с «народа». Убожество, дряхлость посттоталитарной власти заключается, помимо всего прочего, и в том, что она довольствуется суррогатом, фикцией признания, уважения и почитания, что, правда, отнюдь не делает саму эту власть фиктивной.

Доносительство также камуфлирует фиктивность декларируемых принципов политического равенства: «перед лицом доноса, как перед лицом смерти, все равны». Обнаружилось, что равенство всех перед зловещим актом доноса было рудиментарным мифом сталинской эпохи: на некоторые категории лиц (партийная номенклатура и т. п.) запрещалось накапливать негативную информацию, и, следовательно, подобная информация (которая, учитывая наличие в организованном доносительстве существенного, может быть, в какой-то степени и рудиментарного стихийного начала, так или иначе в структуры власти поступала) оставалась информацией фиктивной, информацией, не могущей быть пущенной в ход. Равным образом при пересечении черты, отделяющей слой избранных властью от всех прочих, растворялась, аннигилировалась уже полученная информация, могущая скомпрометировать лиц, продвигающихся вверх по вертикали власти. На практике это выглядело примерно так: «В связи с избранием в партийные органы исключен из агентурной сети агент “Мишин”. Личное и рабочее дела уничтожены»³⁹ (цитата из внутриведомственного текущего отчета, относящегося к 80-м годам).

Однако любая фикция в какой-то иной системе координат является реальностью. Ложь, например, служит для мистификации подлинной сущности каких-то объектов или каких-то систем взаимоотношений, и в этом смысле она — антипод истины; но сама

по себе она — явление социальной действительности и в этом смысле дает истинное представление об обществе и действующих в нем социальных агентах. В этом последнем смысле ложь — не фикция, а реальность. Равным образом донос, камуфлируя фиктивность декларируемых принципов и объявляемых существующими социальных связей и будучи в этом смысле фикцией, является одновременно реальностью общества, высвечивает существующие в нем реальные взаимоотношения, но это — взаимоотношения не истинные и не фиктивные, а, я бы сказал, теневые (наряду с теневой экономикой, теневой политикой, теневыми социальными субъектами и т. д.). И как таковая — теневая — реальность донос противостоит фикциям «нового советского человека», «дружбы народов», «развитого социализма» и т. д. В доносительстве 60-х — 70-х — 80-х отразилась и реальность иного рода, а именно то, что система власти, утратив присущие ей черты «сентиментального тоталитаризма», сохранила в неизменности другую свою особенность: *тайну власти*, непрозрачность структур власти для тех, кто в этой системе полагается объектом действия властных технологий. Продолжение доносительства за хронологическими пределами существования тоталитарной власти означает неизменность веры субъектов, осуществляющих акт доносительства, в возможность остаться для общества анонимами. Разрушение тайны, окутывающей власть, именно в этой точке может привести либо к исчезновению доносительства как вида социальной деятельности, либо к возвращению доносу его публичного, дидактического, «патриотического» характера.

Крушение системы политического патернализма, содержавшей в себе общеизвестные нормы отношения гражданина с властью, создало весьма сложную и противоречивую ситуацию. Вытеснение доноса из

сферы нормативности, изменение моральных оценок этого феномена «с точностью до наоборот» при отчетливо осознаваемом сохранении структуры, «снимающей» с общества информацию, структуры, судя по всему, весьма разветвленной, привело к возникновению новой общественной фобии — фобии доносительства. Это связано в числе прочего и с тем, что изменение ценностной шкалы («донос — занятие грязное и недостойное»), свидетельствующее об определенной зрелости и цивилизованности общества, происходило в условиях неизменности многих функциональных структур сознания, которые остаются в своей основе тоталитарными, хотя и наполняются демократическим «содержанием». Речь, подчеркну, идет именно о структуре сознания, о типе взаимосвязей его отдельных элементов, о менталитете, о таких системах координат, как «терпимость — нетерпимость» и т. д., структуре, на основе и в рамках которой могут существовать самые различные взгляды и идеологии.

Поскольку тотальная слежка и контроль через структуру «помощников» перестают восприниматься как норма, как данность, они начинают осознаваться и оцениваться. Подобное осознание приводит к тому, что у человека вновь, уже в иной исторической ситуации, появляется ощущение собственной прозрачности, ощущение незащищенности, беспомощности перед скрытыми от него механизмами доносительства. Ситуация усугубляется тем, что в условиях жесткой политической борьбы группы, контролирующие закрытые до сих пор ведомственные архивы, несколько (хотя и предельно избирательно) приоткрывают завесу тайны над специфического рода документами, как бы вводят нас в кухню политического доноса, пытаясь прежде всего скомпрометировать своих политических противников. Один лишь только перечень фамилий, которые

в последние годы фигурировали в этом контексте, сопрягаясь с понятием «донос» (и в самом буквальном, строгом смысле слова, и в расширительном, так сказать, метафорическом), вызывает едва ли не оторопь: тут государственные и партийные лидеры, парламентарии, писатели самой различной творческой и идейной ориентации, видные правозащитники... Как это ни парадоксально, но, при неизменности структур сознания и неизменности языка политического текста, подобные обвинения порой приобретают характер публичного доноса...

4. Доносительство как способ пространственного контроля

До сих пор речь шла о том, как изменялась мотивация доносительства в различные исторические эпохи, как доносы использовались властью, каков политический смысл кампаний, основанных на действии механизма доносительства, и т. д. Но доносительство, как и любая иная технология власти, имеет определенный ареал действия, определенную организацию, и этот чисто технологический, «организационный» аспект мы сейчас и попытаемся затронуть.

Кроме того, вероятно, пришло время более подробно остановиться на том, что же понимается в этой книге под *технологиями власти* — если не на уровне строгих научных определений, то хотя бы на уровне рабочего понятия. Когда-то Мишель Фуко, стремясь прояснить свое понимание властных технологий, проанализировал устройство так называемого *паноптикона* Бентама — архитектурной конструкции, демонстрирующей всепроникающий характер надзирающей и дисциплинирующей власти.

Принцип организации пространства паноптикона (мне всегда хочется написать: пан-оптикон, возвращаясь от слова к его составляющим и проясняя тем самым генеалогию термина) не сложен: кольцеобразное здание; в центре внутреннего пространства, внутреннего «двора» этого здания — вышка, увенчанная кабинкой, несколько напоминающей кабину крановщика подъемного крана. Кольцевое здание разделено на камеры, каждая из которых представляет собой отдельную секцию, одной стороной (стеной) выходящую на внешнюю поверхность кольца, другой — на внутреннюю, то есть в упомянутый нами «двор». Иными словами, пространство камеры-секции занимает всю толщину кольцеобразного здания.

Соответственно, в камере две прозрачных перегородки (окна): одна выходит внутрь (и оказывается в поле зрения наблюдателя, находящегося в башне), а другая — наружу; последняя пропускает свет сквозь толщу здания и четко обрисовывает силуэт находящегося в ней заключенного таким образом, что наблюдатель-надзиратель видит его предельно четко.

«Достаточно поместить в башню одного надзирателя, а в каждую камеру посадить по одному умалишенному, больному, осужденному, рабочему или школьнику. Благодаря эффекту расположения против света из башни можно видеть четко вырисовывающиеся на свету малюсенькие фигуры — пленниц камер периферийного здания. Сколько камер — столько клеток, театриков одного актера, причем каждый актер — абсолютно индивидуализированный и постоянно видимый. Паноптическое устройство — это пространственные единицы, позволяющие непрерывно видеть и немедленно распознавать. Короче говоря, принцип, обратный принципу застенка. Точнее, из трех функций карцера (заточать, лишать света и скрывать) сохраняется лишь первая, а две другие устраняются. Полный свет и взгляд

надзирателя улавливают куда лучше, чем тьма (в конечном счете защищавшая). Видимость есть ловушка»⁴⁰.

Приводить подобную машину в действие может любой, практически случайно выбранный индивид. Поэтому, подчеркивает Фуко,

«подобное устройство очень важно: ведь оно автоматизирует власть и лишает ее индивидуальности»⁴¹.

Можно было бы сказать, что паноптикон — это конструкция, где *взгляд власти метафорический совпадает со взглядом власти реальным*.

Но рассматриваемая нами технологическая конструкция имеет и еще одну особенность: неважно, кто, находясь в башне, надзирает; но не имеет значения и то, кто сидит в камерах, кто разрезает собой поток света, оставляя видимый невидимой властью силуэт. В роли заключенного, как и в роли надзирателя, может оказаться любой, и действие дисциплинарной машины от этого не изменится. Видимые и наблюдаемые фигуры — безличны, и люди-в-башне видят множество дублирующих друг друга контуров, силуэтов, утративших не только объем, но и признаки индивидуального лица, того, что, по Эйзенштейну, заключено в правой его половине. Множество надзирателей (мультиплицированный *глаз циклопа*) видят множество однородных изображений, которые, существуя на одной плоскости, образуют картину, видимую как бы *глазом мухи* — множество одинаковых изображений на одной светочувствительной поверхности...

Фуко видит в этом проекте Бентама своего рода идеальную модель (в веберовском понимании этого понятия) организации дисциплинарного, технологического пространства власти.

Но паноптикон при всей его наглядности и дидактичности все-таки не самый удачный пример демонстрации технологий власти. Дело в том, что в

дисциплинарной утопии Бентама технологии власти существуют не в том «свободном» виде, в каком они разбросаны, переплетены в обществе, — они как бы слиты с неким чисто техническим механизмом, целиком зависят от этого механизма.

Чем отличается система современных технологий власти от той техноструктуры, что заложена в идею паноптикона? Позволю привести пример несколько несерьезного свойства. Однажды Томаса Эдисона спросили, что такое телеграф. «Представьте себе длинную-предлинную кошку — когда ее дергают за хвост в Лондоне, она мяукает в Ливерпуле». — «А беспроводный телеграф?» — «То же самое, только без кошки».

Современная система технологий власти — это нечто вроде действующей модели паноптикона, увеличенной до масштабов общества, только без паноптикона, без стен, без камер, без мачты и без кабинки наблюдателя. В XX веке для выполнения функций надзора и контроля власти уже не нужна специальная статическая конструкция, особый механизм.

Поэтому сегодня паноптикон — это идеальная *модель* власти, практически, время от времени более или менее буквально, используемая лишь при создании тюремных сооружений.

Общие принципы, заложенные в паноптиконе как технической конструкции, были реализованы, как это ни парадоксально, скорее не при организации концлагерей в СССР или Германии, а в использовании спортивного стадиона для осуществления функции заключения и контроля над заключенными (наиболее известные примеры — Греция времен «черных полковников» и Чили 1973 года, но, насколько известно, аналогичные случаи были и в других странах). Действительно, здесь налицо круговая конструкция — и

абсолютная невозможность скрыться от наблюдения ни на одно мгновение...

В реальности власть выполняет функции, которые составляют *raison d'être* простой и вместе с тем изоцированной конструкции паноптикона — заточать, лишать света, скрывать (как и многие *иные* функции, скажем функции локализации, иерархизации, контроля), — *вне* видимых технических конструкций типа «кольцевое здание — вышка». Эффективность действия власти достигается за счет дробления глобальной технологической машины (машины в мэмпордовском понимании слова) на сотни специализированных машин, дополняющих, поддерживающих, дублирующих друг друга и координирующих действие самых различных технологий (в том числе и доносительства, о котором идет речь в этом очерке). Лишь сумма, совокупность этих машин власти и вся система задействованных ими технологий способны осуществлять функцию пространственного контроля и поддерживать непрерывность воздействия власти, суть которого определил Фуко: **надзирать и наказывать**.

В качестве другого примера действия дисциплинарных технологий Фуко ссылается на существовавшее в конце XVII века положение о мерах, принимаемых в случае эпидемии чумы. Первое, что выделяет Фуко, — это строгий пространственный контроль: закрытие города и «окрестностей» и запрет выходить из города под страхом смерти. Город разбивается на сектора (кварталы), в каждом из которых устанавливается власть интенданта. Каждая улица находится под властью синдика, который наблюдает за ней и не может покинуть ее под страхом смерти. В определенный день всем жителям приказывают запереться в домах и ни в коем случае не выходить наружу. Синдик собственноручно запирает снаружи дверь каждого дома и передает ключи интенданту квартала, который

сохраняет их до окончания карантина. Если непременно надо выйти из дома, то делают это по очереди, причем избегают встреч. По улицам ходят только интенданты, синдики и стражники. Причем представители городских властей осуществляют непрерывное и самое детальное инспектирование того, как выполняются эти правила.

М.Фуко достаточно кратко и энергично определяет суть контролируемого таким образом пространства, становящегося пространством власти в чистом виде и утрачивающего все свои характеристики, смягчающие или затемняющие эту его сущность как пространства власти:

«Разбитое на квадраты, неподвижное и застывшее пространство. Каждый закреплен на своем месте. А сдвинется — рискует жизнью, заражением или наказанием»⁴².

Те, кто воспринял нашу метафору, определяющую отличие современных технологий власти от архаических («кошка с хвостом в Лондоне, мяукающая в Ливерпуле» — и «то же самое, но без кошки»), легко предугадает следующую. Установление пространственного контроля над городом в современных условиях и при наличии достаточно сложной и изощренной системы технологий власти достигается так же, как в Италии XVII века, только без чумы и представителей власти, на виду у всех разгуливающих по середине улицы.

Таким образом, основные формы действия технологических, властных структур имеют немало общего, идет ли речь о XVII или XX веке.

Это общее мы отмечаем и тогда, когда рассматриваем функционирование доносительства как специфической технологии власти в России XX века. Здесь есть, правда, одна трудность, заключающаяся в том,

что ведомства, которые занимались и занимаются организацией тотальной слежки за населением и контролем механизма доносительства как одной из технологий власти, до сих пор не особенно склонны раскрывать методы организации и контроля социального пространства и составляющих его микросоциумов, даже если речь идет о делах давно минувших. В сущности, о том, как именно организована система тотального доносительства, как она устроена *технологически*, мы знаем сравнительно немного, может быть, даже меньше, чем о технологиях власти в итальянских городах, пораженных эпидемией чумы.

Для того, чтобы стать обладателем исчерпывающего знания, надо обладать информацией прежде всего не о процессе доносительства (гражданин *X* донес в соответствующую организацию о том, что гражданин *Y* говорил гражданину *Z* о том-то и о том-то) и не о результатах действия механизма (кого-то арестовали в результате доноса или сделали невыездым). Недостаточно даже обладать соответствующей статистикой (чем мы, впрочем, не располагаем). Важно понять, как *организуется* пространство власти из центра, как оно «форматируется», пересекается институтами власти на «квадраты» и «сектора», как оно контролируется посредством этой технологии (хотя одновременно оно контролируется еще множеством других технологий).

Очевидно, существует убеждение (и не безосновательное), что обнародование подобных фактов не делает чести известным ведомствам, поэтому число достоверных, документальных публикаций ничтожно мало. Есть, однако, документы, касающиеся периода Великой Отечественной войны, — вероятно, организация системы осведомителей и секретных сотрудников в это время, по мнению тех, кто контролирует рассекречивание и процесс дозированной публикации

архивных материалов, является делом более достойным, необходимым и заслуживающим обнародования.

Московские архивисты не так давно опубликовали донесения руководителей групп по спецработе, относящиеся к 1941 и 1942 годам. Основная часть информации появилась в сборнике «*Москва военная*» (изд-во Мосгорархива, 1995); ряд материалов был напечатан теми же публикаторами в периодических изданиях, преимущественно московских.

Из справок руководителей групп (скрывавшихся под псевдонимами «Клавдия», «Леонтий», «Степан» и т. п.) ясно, что «группы работников района» с целью получения информации о настроениях населения ежедневно действовали в очередях у магазинов, на фабриках и заводах, в трамваях, в банях, то есть все тех же *кварталах*. Так, например, 14 декабря 1941 года люди из группы «Леонтия» прослушивали разговоры у магазина № 3, в магазине на Б. Серпуховской улице (номер не указан), в магазине № 8 завода СВАРЗ в Сокольниках⁴³. Сотрудники группы «Климента» 24 декабря 1941 года фиксировали разговоры в цехах одного из московских заводов, на почте № 24, в очереди за хлебом у магазина № 20⁴⁴. В тот же день «Клавдия» фиксирует в своем донесении политически сомнительные высказывания в одной из бригад фабрики «Мосбелье» № 14 и, насколько можно судить из контекста «справки», в рабочей раздевалке⁴⁵.

24 апреля 1942 года, согласно отчету руководителя группы «Клавдии», агенты функционировали в очередях у продмага № 6, керосиновой лавки, у магазинов № 1, 14, 10, 63, 201, у мучного склада и других точках города. Во всех очередях стояли в основном женщины, мужчины встречались редко⁴⁶.

Для нас здесь не столь существен характер разговоров в очередях (хотя в этом отношении опубликованные документы уникальны) — важнее организация

процесса. Очевидно, что власть путем выборочного, но, несмотря на экстремальные обстоятельства, систематического контроля всех сколько-нибудь важных мест скоплений людей обеспечивает тотальный контроль пространства и стремится создать абсолютно адекватное представление об информации, циркулирующей в этом пространстве. Иными словами, это пространство становится для власти *абсолютно прозрачным*. Причем фактором прозрачности становится не только и, может быть, не столько возможность реально охватить все контролируемое пространство целиком, без пропусков и изъятий, сколько создание у населения ощущения того, что *каждая* точка (и каждое слово, сказанное в этой точке) в *каждый* конкретный момент прослушивается или может быть прослушиваема.

Прослушивание — из разряда тех тайн власти, которые создаются и преподносятся как тайны только для того, чтобы о них знали и чтобы сознание того, что некие тайные силы и структуры существуют и действуют, становилось фактором дисциплинирования, устрашения или катализатором действий граждан, имеющих, помимо конкретного ситуативного смысла, и смысл глубинный, философский: самоидентификация индивида (индивидов) с властью, растворение его (их) в политическом (социальном) теле власти.

Полученная таким образом (то есть прежде всего отраженная в отчетах руководителей групп по спецработе) информация аккумулировалась, *как бы* обобщалась и направлялась функционерами, курировавшими направление информационной работы с населением, на более высокие этажи властной иерархии.

В частности, недавно опубликована датированная 30 декабря 1941 года докладная записка начальника УНКВД г. Москвы и Московской области М.И.Журавлева наркому внутренних дел Л.П.Берии о реаги-

вании населения на разгром гитлеровских войск под Москвой. Совершенно очевидно, что отчет скомпонован из фрагментов донесений руководителей групп вроде «Климента», «Степана» или «Леонтия»⁴⁷.

Я написал: *как бы обобщалась* именно потому, что докладная начальника московского УНКВД по уровню осмысления изложенных фактов ничем, в сущности, не отличается от донесений рядовых сотрудников ведомства и не содержит, в том варианте, который опубликован московскими архивистами, никаких обобщений или рекомендаций, представляя собой лишь самый примитивный дайджест патриотических и *антисоветских* высказываний.

Чрезвычайно примечательно то, что действие подобных технологий с течением времени стало контролироваться не только институтами, как бы выросшими именно над этими технологиями власти (подобно тому, как ЧК вырос над технологиями террора), и что сами технологии власти практически в автоматическом режиме конституировали и реконструировали властные структуры, де-факто возлагая на них обязанность организовывать «съем» специфической информации с тех или иных слоев общества и доводить ее до сведения либо соответствующих ведомств, либо просто вышестоящих, как правило, партийных инстанций. Причем речь идет о функционерах и подразделениях, по роду своих непосредственных обязанностей, казалось бы, свободных от заботы о жизнеспособности технологий тотальной слежки и доносительства.

Соответственно, функция контроля пространства власти, связанного с действием технологий доносительства, осуществлялась чрезвычайно многочисленной и разношерстной совокупностью субъектов: помимо штатных сотрудников специальных ведомств, помимо «добровольных помощников», сотрудничавших с этими ведомствами на регулярной основе,

помимо добровольных доносителей, действовавших в порядке собственной гражданской инициативы, к этому был подключен слой людей, в чьи прямые обязанности как будто и не входило сигнализирование по поводу тех или иных нарушений или высказываний, но которые считали это своим *служебным* (именно служебным, профессиональным, а не гражданским) долгом.

Приведу всего два примера. Первый — письмо секретаря МГК ВКП(б) Павлюкова руководителям московской городской и областной партийных организаций А.С.Щербакову и Г.М.Попову по поводу первого после военных невзгод дня торговли Елисеевского гастронома (письмо датировано 15 апреля 1944 года).

Содержание письма для нас не столь важно: большинство (как утверждает) хвалит политику партии и правительства, выражает восторг и утверждает, что все «лучше, чем до войны»; многие предпочитают покупать товары «вторых сортов» (дешевле); кто-то (паршивая овца в стаде) высказывается в том смысле, что цены такие, что «могут покупать только генералы и артисты»⁴⁸.

Бросается в глаза, что справка секретаря МГК по стилистике, по жанру, по отсутствию каких-то попыток осмыслить описываемые события (осмысление — привилегия только самого верха властной пирамиды) — точная копия справок руководителей «групп по спецработе». Собственно, нет сомнения в том, что и справка Павлюкова представляет собой компиляцию того, что спец агенты сумели услышать в толпе покупателей и затем записать.

Но почему секретарь горкома партии, отбивая, можно сказать, хлеб у московского НКВД, спешит доложить о подслушанных разговорах? Почему он ставит себя на одну доску с рядовыми агентурными сотрудниками, в сущности, дублирует их работу?

Оставляя пока в стороне эти вопросы, перейду ко второму примеру, который отделяет от первого более четверти века.

В 1971 году тогдашний чемпион мира по шахматам Борис Спасский побывал с лекциями в Ростовской области, и в частности выступил в Доме научно-технической пропаганды комбината «Ростовуголь» г. Шахты. После этого выступления в ЦК КПСС было направлено письмо первого секретаря Ростовского обкома ЦК КПСС И.А.Бондаренко, в котором последний утверждал, что в присутствии аудитории в две сотни человек Спасский «извращенно освещал положение шахматистов в Советском Союзе и допустил выпады против советской действительности»⁴⁹.

Оказывается, Спасский сказал, что в СССР не уделяется должного внимания ведущим шахматистам, их труд плохо оплачивается, призы за победу в первенствах СССР — мизерные. Чемпион мира (сообщал первый секретарь обкома партии) заявил, что самый большой приз, полученный им за границей, составил 5 тысяч долларов, а на родине — лишь 2 тыс. рублей. Наконец, он рассказал о том, что получает 300 рублей за то, что якобы работает тренером в обществе «Локомотив», чего он в самом деле не делает.

Наконец, Спасский допустил уже чисто политические выпады: отвечая на один из заданных ему вопросов, он сказал о своем уважении и симпатии к верующим: «Вообще я выходец из семьи священника, и, если бы из меня не получился шахматист, я бы с удовольствием стал священником»⁵⁰.

Все изложенное выше может быть проанализировано под разными углами зрения. Нас сейчас интересует лишь один аспект. А именно констатация того, что секретарь крупного обкома партии, член ЦК КПСС, один из потенциальных кандидатов на пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству, счел необходи-

мым написать — не будем употреблять слово «донос», вспомним простонародное русское словечко «телега» — на человека, с которым он, по-видимому, никогда не пересекался и с которым находился в совершенно разных профессиональных и интеллектуальных измерениях. И, что самое главное, написал «наверх» о человеке, по поводу которого его непосредственные служебные обязанности не предписывали ему, именно ему, не областному управлению КГБ, не спортивным руководителям области — а именно ему что-либо вообще предпринимать, хорошее ли, дурное ли. Но он счел своим служебным долгом сделать это, то есть выполнить работу тех безвестных стукачей-слухачей, которых по именам, возможно, знают только руководящие ими «Степаны» и «Клавдии».

Оставив в стороне моральный аспект, констатируем: технологии власти втягивают в орбиту своего действия людей, стоящих вне специфических институтов, призванных непосредственно эти технологии контролировать, и представляющих институции совсем иного рода. Иными словами, здесь мы видим, что технологии властвования — это в определенном смысле действительно *«бессознательное власти»* (В.А.Подорога), действие их автоматизировано и субъекты вынуждены выстраиваться вдоль силовых векторов этих технологий, порой даже не сознавая этого в полной мере.

Очевидно, система, так подробно описанная применительно к временам «Леонтия» и «Клавдии», пережила жестокое военное время и в том или ином виде существовала и позднее. Приведу в качестве примера ситуацию, описанную в письме, присланном в один из журналов уже в годы перестройки:

«Я, Андрияшин Николай Федорович, 1925 года рождения, будучи заведующим отделом писем газеты “За коммунизм” Арсеньевского района Тульской области,

утром 23 августа 1968 года в присутствии трех-четырех сотрудников высказал свое неодобрение вступлению наших войск на территорию Чехословакии. Минут через сорок я был уволен за профнепригодность, хотя до этого моя работа оценивалась весьма положительно»⁵¹.

Очевидно, что редакция газеты «За коммунизм» Арсеньевского района Тульской области в памятном для нас 1968 году была столь же прозрачна для власти, как хлебная очередь или заводская раздевалка в 1941 году.

5. Человек пишущий: неизбежное зло?

Эволюции, инволюции и трансформации феномена доносительства в нашей стране в последние семьдесят с лишним лет были обусловлены во многом тем, что доносительство существовало в обществе с классовой идеологией, классовой партией, классовой гегемонией, классовыми ценностями и классовым сознанием. Я говорю здесь о классовом делении общества в самом широком смысле слова: о фундаментальном водоразделе «МЫ — ОНИ», «НАШИ -- НЕ НАШИ». Все моральные нормы и ценности функционируют лишь внутри общности, именуемой «МЫ», и только для членов этой общности. Остальные — «ОНИ» — стоят вне применяемых нами к себе критериев, вне моральных императивов, часто — вне закона. «ИХ» можно лишать гражданских и политических прав, имущества, в отношении «НИХ» могут быть оправданы любые аморальные действия, в конце концов, на «НИХ» можно и должно доносить. Вседозволенность в отношении «НИХ» лишь на пользу «НАМ», она сплачивает «НАС», она «НАС» цементирует и мобилизует.

Однако моральный и правовой релятивизм имеет свойство прогрессировать; уже внутри «НАС» обнару-

живаются чуждые и враждебные «ОНИ», и добродетелью становятся травля, расправа и доносительство в отношении бывших «НАС», объявленных «ИМИ», будь то беспартийные пролетарии, интеллигенты или старые большевистские кадры. Классовое чутье, классовая бдительность, классовое сознание требуют выявлять, более того, отыскивать представителей чуждого классового мировоззрения внутри целого, именуемого «МЫ». «МЫ» дробится на множество классов и подклассов, причем общности, возникшие в процессе деления, продолжают, подобно амебе, делиться далее. Наступает момент, когда инструменты и методы борьбы с «НИМИ» могут быть — в рамках самого ортодоксального классового сознания — обращены против любого гражданина. Мораль, совесть, стыд, жалость, сострадание капитулируют перед натиском инспирируемого тотальным государством «классового» безумия; нормальные человеческие чувства и нравственные ценности выживают лишь в отдельных нишах, куда не дотягиваются щупальца утверждающего высшую классовую справедливость государства...

Возрождение общечеловеческих ценностей, даже с учетом неполноты и непоследовательности этого процесса в современных российских условиях, тем не менее означает медленное преодоление гипертрофии властных технологий и власти вообще, власти как одного из столпов общества, постепенное распространение, «растекание» в обществе нормальной человеческой морали, той самой морали, которая несовместима с доносительством.

Сегодня весы, на одной чаше которых находятся ценности гражданского общества, на другой — классовая или националистическая идеология (последняя также основана на бинарной оппозиции «МЫ — ОНИ»), находятся в состоянии весьма неустойчивого равновесия. И определенно сказать о том, как изме-

нится структура технологий власти в нашем обществе к началу XXI века и какую роль будет играть в ней доносительство, пока что чрезвычайно сложно.

Так или иначе, доносительство — это не какой-то дефектный «ген», проникший в генофонд русской нации, а составляющая весьма специфических технологий власти, связывающих индивида с микрокосмами власти, к которым он привязан, «приписан», в которые он (здесь это слово более чем уместно) заключен. И в то же время это технология, «встраивающая» все эти бесчисленные микрокосмы (будь то родовые сообщества средневековой Руси, хозяйственные корпорации, вроде посадских «тяглых» людей, современных предприятий, учреждений, студенческих общежитий или коммунальных квартир) в контролируемое властью пространство, в «космос» власти. И вопрос о том, до каких пор над Россией будет тяготеть проклятие доносительства, — это в конечном счете вопрос об общественном устройстве и тех структурах власти, с которыми Россия войдет в XXI век.

Эмансипация общества от государства, появление, наряду с микрокосмами власти и жесткими технологиями, их пронизывающими, определенного пространства частной жизни человека, где власть не довлеет над индивидом столь грубо, зримо и сурово, а функционирует, опираясь в большей степени на адекватные XX веку дисциплинарные техники контроля, казалось бы, исторически предreshали судьбу доносительства как инструмента власти. Но после Октябрьской революции произошла частью стихийная, частью сознательная реанимация архаических технологий власти; общество вновь стало выстраиваться как абсолютно зависимый от власти и абсолютно прозрачный для нее объект. Поэтому на первый план вновь были выдвинуты технологии властвования, позволяющие подавлять любые несанкционированные властью

проявления индивидуальности, технологии, направленные на строительство множества коллективных тел, дающих человеку возможность существовать и выживать только в границах коллективной телесности, в рамках порожденных властью микросоциумов, объединенных в одно Всеобъемлющее Коллективное Тело, именуемое *советский народ*.

А подобное общество, как и общество, сменяющее его, выходящее из его чрева и обремененное его тяжелой наследственностью, еще долго будет воспроизводить фигуру *человека пишущего* — безразлично, на козлином ли пергаменте, на вырванном из детской тетради листке в клеточку или на мерцающем экране монитора самого современного компьютера.

¹ См.: Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Книга VII. Тома 13—14. Россия с древнейших времен. М., 1991, с. 130.

² Там же, с. 127.

³ Там же, с. 91.

⁴ Феномен *варварской борьбы против варварства* подробно исследован А.А.Кара-Мурзой. См.: Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М., 1995.

⁵ Ключевский В.О. Соч., т. IV. М., 1958, с. 254.

⁶ Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. М., 1989, с. 94.

⁷ Лихачев Д.С. Литература «государственного устройства» (середина XVI века). — В кн.: Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985, с. 15—16.

⁸ См.: Суворин А.С. Из «Дневника». — В кн.: Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников. В 2-х томах. Т.2, с. 390—391.

⁹ Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (1917—1918 гг.). М., 1990, с. 30—35.

¹⁰ Герцен А.И. Былое и думы. Соч. в 4-х томах. Т. 1. М., 1988, с. 125.

¹¹ См.: Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX—XX столетий. 1881—1903. М., 1973, с. 323.

¹² «Октябрь», 1991, № 1, с. 123.

¹³ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, ч. V — VI — VII. М., 1990, с. 84.

¹⁴ Энгельгардт А.Н. Из деревни: 12 писем, 1872—1887. М., 1987, с. 433.

¹⁵ Пешехонов А.В. Первые недели. — В кн.: Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 года. М., 1991, с. 279—280.

¹⁶ Троицкий Л.Д. Моя жизнь. М., 1991, с. 312.

¹⁷ Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. — В кн.: Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М., 1990, с. 440.

¹⁸ Лишенцы. Публикация А.И.Добкина. — В кн.: Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М. — Спб., 1992, с. 611.

¹⁹ Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования, с. 132.

²⁰ «Новое время», 1989, № 35, с. 47.

²¹ «Провокаторов расстреливать на месте». — «24», 18 октября 1994 г.

²² Там же.

²³ Коллективное жизнеописание Михаила Булгакова. Публикация Г.Файмана. — «Независимая газета», 28 сентября 1994 г.

²⁴ Конквест Р. Большой террор. — «Нева», 1990, № 11, с. 131.

²⁵ Горбатов А.В. Годы и войны. М., 1965, с. 144.

²⁶ Цит. по: Белادي Л., Краус Т. Сталин. М., 1989, с. 210. Насколько можно судить, цитированный выше «самодонос», как и ряд других документов, был взят венгерскими историками из материалов Смоленского архива, захваченных немцами в первые месяцы войны и затем широко использованных многими западными историками.

- 27 «Под знаменем марксизма», 1931, № 9—10, с. 262.
- 28 См.: Дружников Ю. Вознесение Павлика Морозова. — «Родник», 1990, № 5, с. 65—66.
- 29 Геллер М. «Первое предостережение» — удар хлыстом. — «Вопросы философии», 1990, № 9, с. 43.
- 30 Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953 — 1985). Свидетельство современника. М., 1991, с. 268.
- 31 Цит. по: там же, с. 316—317.
- 32 Цит. по: «Московский комсомолец», 23 января 1990 г.
- 33 Там же.
- 34 Там же.
- 35 «Аргументы и факты», 1990, № 25, с. 7.
- 36 Зиновьев А. Гомо советикус. Пара беллум. М., 1991, с. 9.
- 37 Подробнее об этом см.: Никонов И. Доносы по инструкции. Легко ли быть гидом Интуриста? — «Московские новости», 4 марта 1990 г.
- 38 «Аргументы и факты», 1991, № 38.
- 39 «Аргументы и факты», 1992, № 9.
- 40 Фуко М. Надзирать и наказывать. Фрагменты из книги. — «Искусство кино», 1994, № 11, с. 53—54.
- 41 Там же, с.54.
- 42 Там же, с.51.
- 43 Москва военная. М., Изд-во Мосгорархива, 1995, с. 200.
- 44 Там же, с. 203—205.
- 45 Там же, с. 205.
- 46 У тети Клавы были большие уши. Публикация Н.Митрофанова и А.Пономарева. — «Вечерняя Москва», 3 февраля 1995 г.
- 47 Москва военная, с. 206—208.
- 48 «Градские вести», 1995, № 17.
- 49 Литовкин В., Новиков А. Партийный гамбит. — «Известия», 28 октября 1992 г.
- 50 Там же.
- 51 Письма в «Огонек». М., 1990, с. 28.

ДВЕРИ

Вот парадный подъезд...
Н.А.Некрасов

Существует множество тривиальных действий, ежедневно совершаемых нами механически, почти бессознательно.

Мы поворачиваем ключ в замке, толкаем дверь и входим в собственную квартиру, даже не задумываясь, например, о том, почему, собственно, она, наша дверь, открывается внутрь, а не наружу, и посему ее может высадить, выбить ногой любой почитатель Брюса Ли, — и только со вздохом косимся на железные (и, между прочим, открываемые наружу) двери наших преуспевших на ниве бизнеса соседей (профессору МГУ надо работать на такие двери месяца три). Мы открываем, закрываем, пинаем наши двери, хлопаем ими и осторожно их за собой прикрываем, не задумываясь о том, что каждая из них, быть может, есть некая метка, демаркационный знак, при помощи которого размечается, «форматируется» наше жизненное пространство.

Мы не задумываемся над тем, почему все свои двери мы открываем и закрываем сами. А.Амальрик, побывавший в изоляторе КГБ в Лефортове, отмечал в своих автобиографических записках, что за все время пребывания в этом заведении он ни разу не коснулся дверной ручки: все двери на его пути открывали и закрывали надзиратели... Кстати, то же самое можно

сказать и об особах королевской крови: все двери раскрываются перед ними как бы сами собой.

Наконец, совсем кощунственный вопрос, который неизбежно возникает, когда начинаешь думать о дверях не только как о некоторой архитектурной детали, но и как об элементе какой-то глобальной технологии, при помощи которой (которых) организуется и контролируется общество и каждый отдельный человек: это мы, щелкнув замком и потянув дверь на себя, открываем ее — или это она себя *нами* открывает, а мы лишь производим действие, кем-то запрограммированное и спроектированное?

Ответы на эти достаточно своеобразные вопросы следует, как мне кажется, искать в некоем проблемном поле, которое для краткости можно обозначить словами: «человек и власть». В этом проблемном поле, в этой системе координат двери являются частью пространства власти, если хотите, интерьера власти и помогают нам понять, как это пространство организовано.

1. Неуязвимые, непроницаемые

Основополагающей идеей любой власти всегда было самосохранение. Оно обеспечивается, в числе прочего, и особой организацией пространства, контролируемого этой властью. И если существуют *коридоры власти*, то, наверное, существуют и *двери власти*. Власть — это не только и, быть может, не столько власть политических институций: политбюро, обкома, президента, Верховного Совета и т. д. Есть множество микрокосмов власти, сжимающих индивида, обучающих его жить по законам и правилам, установленным властью. Это и школа, и общежитие, и больница, и завод, и научный институт, и магазин, вплоть до приемного пункта стеклотары, элементарно преобра-

зующего совокупность граждан в специфическую человеческую общность — очередь... Десятки, сотни, тысячи микрокосмов власти, формирующих коллективные социальные тела, где атрофируется индивидуальность, способность человека к самостоятельному мышлению и способность (а зачастую и потребность) к сопротивлению этой власти.

Но ни один микрокосм власти не может существовать вне связей с внешним миром, независимо от того, преобразован он этой же самой властью или враждебен ей. Поэтому архитектурной оболочке любого микрокосма необходим вход-выход: ворота, двери, да хоть прикрытый звериной шкурой лаз.

Этот вход-выход всегда был для власти источником постоянной тревоги, ибо естественным образом оказывался самой уязвимой точкой любых фортификационных сооружений, любых, самых охраняемых, госдач и самых высоких кабинетов. Без дверей, что ни говори, было бы спокойнее. Но обиталище власти, лишенное дверей, — ее недостижимая мечта, нереализуемая даже тогда, когда власть умирает и перестает быть властью. Вспомним судьбу открытой Говардом Картером гробницы Тутанхамона: путь в некрополь преграждали три двери, запечатанные фараоновой печатью и обеспечивавшие герметичность погребальной камеры, где стоял саркофаг с мумией...

Кстати: над проездными (воротными) башнями старинных русских деревянных крепостей нередко устраивались навесные балконы-часовни, «часовни на сносе». Именно ворота были наиболее уязвимым местом в системе оборонительных сооружений, и иконы в часовне призваны были обеспечить башне и защитникам крепости (кремля, острога и т. п.) покровительство святых.

Часто иконы размещали непосредственно над воротами (поэтому, замечу в скобках, барельефы вождей,

героев революции и т. п. над различного рода входами вполне в русской традиции).

Кстати, о традициях. Когда в 1491 году Пьетро Антонио Солари строил Спасскую (Фроловскую) башню Московского Кремля, он не только перекинул через ров, отделяющий башню от Красной площади, подъемный мост, в случае осады или штурма поднимающийся и полностью перекрывающий арку ворот, но и предусмотрел в проходе ворот пазы, по которым поднималась и опускалась зубчатая металлическая решетка — герса.

И когда сегодня мы обнаруживаем за деревянными дверями коммерческого банка металлическую решетку (правда, уже не падающую сверху вниз, а отодвигаемую в сторону), в этом нетрудно увидеть влияние очень древней традиции: двери — решетка — пост охраны (человек в пятнистом маскировочном комбинезоне с автоматом в руках, милиционер в форме или молодцы в одинаковых костюмах, при галстукке и с карточкой «Служба безопасности» на лацкане).

Совсем иное было позаимствовано из традиционных способов организации «входа во власть» в сталинские времена.

Как известно, вход в рабочий кабинет Сталина в Кремле и, рассказывают, входы на его загородные дачи были организованы по принципу своеобразных «отстойников» или тамбуров. Писатель К.Симонов так описывал свое проникновение в кабинет вождя: «Тринадцатого мая (1947 года. — С.К.) Фадеев, Горбатов и я были вызваны к шести часам вечера в Кремль к Сталину. Без пяти шесть мы собрались у него в приемной... В три или четыре минуты седьмого вошел Поскребышев и пригласил нас. Мы прошли через одну комнату (тамбур. — С.К.) и открыли дверь в третью. Это был большой кабинет, отделанный свет-

лым деревом, с двумя дверями — той, в которую мы вошли, и второй дверью в самой глубине кабинета слева...» Адмирал флота И.С.Исаков, человек военный и, следовательно, сведущий в фортификации, описывая подземный кабинет Сталина в Кремле (точную копию его рабочего кабинета, только меньшего размера), уже без обиняков называет тамбуром комнату, из которой посетители входили в кабинет.

Один мой знакомый, архитектор по образованию, у которого я пытался выудить информацию на тему «Двери в истории человечества», высказал довольно интересную мысль. Он полагает, что Сталин и его охрана позаимствовали типично средневековую систему тамбуров, и в этом смысле нет принципиального различия между «второй комнатой» Сталина и камерой между внешними и внутренними воротами той же Спасской башни Кремля. Отец народов мог позаимствовать не принципиальную фортификационную идею, а весьма конкретный способ охраны подступов к покоям государя, принятый на Руси. Дж.Флетчер, британский посланник при дворе царя Федора Иоанновича, пишет о трех комнатах, примыкающих к царской спальне: в первой находится главный постельничий, в смежной с нею — еще человек шесть, известных своей особой преданностью царю, и, наконец, в третьей — до сорока молодых дворян, называемых жильцами-стряпчими. Кроме того, у каждой ворот и у каждой двери во дворе еще несколько сторожей, именуемых Флетчером *истопниками*.

Но, наверное, не лики святых над «входом во власть», не фараоновы печати и не вечно живая система тамбуров делают *двери власти* неприступными и непроницаемыми. Печати на дверях не мешали грабителям очищать усыпальницы египетских царей еще три тысячи лет назад; большинство русских деревянных крепостей исчезло, повинувшись неумолимому ходу

времени и беспощадной стихии огня; хозяин кремлевского кабинета умер своей смертью, но Берия, его политический и духовный двойник, был, по иронии судьбы, арестован как раз в «рабочем кабинете № 1», где происходило знаменитое ныне заседание президиума ЦК.

Двери власти остаются неприкосновенными и неприступными не потому, что чисто технические меры безопасности достаточны и даже избыточны, — их охраняет страх, преклонение перед властью и тайна, окутывающая *эту* власть и многократно усиливающая *этот* страх. Чтобы проникнуть в чрево египетских пирамид три тысячи лет назад, надо было преодолеть страх перед людьми и перед богами; чтобы решиться на арест Берии, Хрущеву и всем прочим пришлось преодолеть страх не только перед всесильным шефом госбезопасности, но и, если хотите, перед тенью Сталина.

Именно страх или по крайней мере естественное стремление нормальных людей держаться подальше от власти, не пересекаться с ней (по возможности) ни в одном из созданных ею микрокосмов делает стеклянные двери пятизвездочного отеля «Балчуг» прочнее проржавевших, но все же железных дверей гаража, где стоит старенький «Запорожец» или «Москвичонок» какого-нибудь пенсионера.

Все эти стеклянные двери на самом деле гораздо менее прозрачны, чем глухие двери наших квартир: о сидящих за толстыми зеркальными стеклами не известно ничего, о нас — все.

Между прочим: в одном из преуспевающих московских банков мне довелось видеть двери, воспринимаемые почти как овеществленная метафора: зеркальные снаружи (можно остановиться, посмотреть в двери банка, поправить галстук) — и дымчатые, но вполне прозрачные, когда смотрят изнутри на нас,

проходящих мимо. Двери, подобные знаменитым очкам Корчного, использованным им во время одного из матчей с Карповым как средство защиты от воздействия будто бы имевших отношение к матчу парапсихологов.

Да, именно таковы идеальные двери власти: непрозрачные для нас и прозрачные, если власть вглядывается изнутри в контролируемое ею жизненное пространство, сверхпрочные, независимо от материала, из которого они сработаны.

Наконец, двери существуют как тайна власти — где-нибудь в углу, в задней стене кабинета. К.Симонов зорким писательским глазом углядел такую дверь в кабинете Сталина; но надлежало ей быть и в служебном кабинете следователя Порфирия Петровича — во всяком случае, ее увидел там и описал Достоевский. И неважно, *что* там, за дверью: карты по стенам, как у Сталина, или столик с закусками и холодильник с крепкими напитками. Важно, что даже для допущенных к *Самому* остается уголок пространства власти, им неведомый, хотя и отмеченный прямоугольником двери.

Тайна, для того чтобы стать *тайной власти*, должна обозначить, *заявить* себя как тайна. Ибо тайна, замкнутая в пространстве самой власти, тайна, которая не может быть использована для превращения еще не присвоенного властью пространства в пространство власти, никогда не сможет стать опорой власти.

Конечно, и в современной мозаике властных технологий находится место и для архаики, и для вневременной, чисто функциональной неброскости; но это весьма прагматическая простота, лишенная всякого ореола таинственности. И двери, скрывающие подобного рода тайну власти, также неброски, незаметны, доступны взгляду великого множества людей, которые,

благодаря непрерывным усилиям власти, способны лишь смотреть, но не видеть.

С детских лет мы помним ту знаменитую дверь на улице Могильщиков, к которой прижался Рошфор, увиденный д'Артаньяном из окна своей мансарды, — прижался и бесследно исчез. Соседи потом уверяли бравого гасконца, что здание, вход в которое обозначала дверь, уже шесть месяцев необитаемо. Действительно, во все века тайная полиция, этот бессмертный институт власти, содержала для своих целей квартиры, дома, особняки...

Печально известный провокатор Роман Малиновский писал в своих показаниях ревтрибуналу, что дома, где сотрудники царской охраны проводили свидания со своими платными агентами, они охраняли лучше своих собственных домов.

Насколько известно, и КГБ имел, особенно в Москве, некое количество зданий и квартир, использовавшихся в оперативной деятельности, и довольно долго и успешно отбивал попытки «уплотнить» себя, связывая их с неминуемой угрозой государственным интересам и государственной безопасности, — а мы, грешные, ходили взад-вперед мимо *этих* дверей, не подозревая, что это двери власти.

Наконец, дверь, как, впрочем, и любая аналогичная преграда, может быть превращена в *окно* в мир власти. Так, Екатерина II разделила свою приемную на две части ширмой: за ширмой прятался очередной фаворит, а рядом императрица вела прием по государственным делам; иной раз она беседовала с сановниками, лежа за ширмой в постели с фаворитом. Затем была придумана совсем оригинальная конструкция: зеркало, которое, поднимаясь на особой пружине, открывало вход в находящуюся за спальней Екатерины комнату фаворитов, а опускаясь, скрывало ее.

Все это было, естественно, игрой в тайну: екатерининское «зазеркалье» и все происходившее там было известно всему двору, поскольку и изобретено было лишь для того, чтобы стать известным. Таким образом власть утверждала свою свободу от любых правовых и моральных норм, доводила до сведения подданных ту предельно простую мысль, что ей, власти, дозволено все.

Прозрачные двери — ширмы — зеркала показывали, что власти не только дозволено все — ей *принадлежит* все. И если, как пишет философ Валерий Подорога, «право на собственное тело — это право на собственную жизнь», то этого права лишались не только миллионы подверженных произволу людей из низших сословий, но и фавориты сластолюбивой императрицы, которые платили за стремительное продвижение вверх по придворной лестнице самой жестокой телесной и духовной несвободой, а порой и еще дороже (вспомним известный эпизод с юной женой бывшего фаворита Мамонова...)

Впрочем, дверь может быть и не скрыта от нашего взора своей похожестью на тысячи других дверей: она может оказаться слишком большой, даже огромной, и простой смертный, посмеявшийся посягнуть на эту дверь, будучи не в состоянии даже разглядеть ее, испытывал ощущение ужаса и без-выходности. Археологи обнаружили такого рода ловушки в лабиринтах, скрытых внутри пирамид: охотник за сокровищами фараонов попадал в камеру, где видел лишь голые стены; на самом деле потолок представлял собой гигантских размеров дверь — какой контраст с теми, самыми известными в бывшем СССР дверями, около которых еще недавно располагался «пост № 1»! И какое сходство посмертных судеб тех, кого призваны были «спасти и сохранить» эти такие разные двери...

2. Шаги на лестнице

Почему же двери наших квартир, за редким исключением, открываются внутрь?

Это странно и удивительно хотя бы с точки зрения пожарной безопасности: человек, рвущийся из горящего дома, инстинктивно толкает дверь от себя и, как бы продолжая движение, вываливается наружу. Более того, принцип «двери внутрь» нарушает формальные противопожарные нормы, утвердившиеся в России где-то с 90-х годов прошлого века и действующие поныне. «Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещения» — примерно так формулируется соответствующий противопожарный постулат сегодня.

Наконец, открывающиеся внутрь двери как бы созданы специально для облегчения беспокойной жизни грабителей и налетчиков: нет необходимости возиться с отмычками, «фомками» — дверь попросту выбивается одним ударом тренированной ноги. Но ведь не рэкетеры и наемные убийцы контролировали и утверждали на протяжении семи с половиной советских десятилетий типовые проекты жилой застройки?

Ссылки на бедность, на издержки сверхбыстрой массовой застройки, породившей потолка 2.60, узкие лестничные пролеты, железные баки во дворе вместо мусоропровода, *а также* открываемые внутрь двери, наивны. Хотя бы потому, что двери открываются внутрь как в дышащих на ладан «хрущобах», так и в весьма престижных «номенклатурных» домах.

Куда больше оснований предположить, что за нелепым на первый взгляд принципом «двери внутрь» скрывается некая идеология, некие представления власти о том, как следует организовать жизненное пространство тех-кто-под-властью. Дверь как бы служит мембраной, отделяющей мир частной жизни

человека от пространства, контролируемого властью. Власть заинтересована в том, чтобы эта мембрана была максимально проницаемой. Человек, поскольку он ощущает себя индивидом, личностью, а не частицей создаваемых властью коллективных социальных тел, заинтересован в обратном. Открывающаяся внутрь дверь — это материализация интереса власти. Такую дверь легко и приятно высаживать, выбивать, выламывать. Звонок в дверь — тишина — команда: «Ломайте!» — и вот уже люди в кожанках или в форме в квартире, и неважно, квартира ли это уклонившегося от переписи представителя бывших эксплуататорских классов, бывшего члена ленинского политбюро товарища Троцкого или возомнившего о себе диссидента.

Надо сказать, что в старинных домах двери, ведущие в квартиру, открывались, как правило, наружу. Вспомним хотя бы известнейшее место известнейшего романа Достоевского: Родион Романович Раскольников приходит убить ненавистную старуху-процентщицу и тем самым утвердить себя как личность, доказать себе, что он есть Нечто, а не насекомое, не тля какая-то... Старуха недоверчиво приоткрывает дверь... Раскольников хватается за дверь и тянет ее на себя, чтобы старуха не вздумала опять запереться... та не отпускает ручку замка — «так что он чуть не вытащил ее, вместе с дверью, на лестницу».

Взять такую дверь можно было не силой, а только хитростью. Чего, кстати, вовсе не чуралась власть, основанная на избыточном насилии: «Кто там?» — «Вам телеграмма!», а потом в квартиру вламывается НКВД — МГБ — КГБ...

Забавно, но власть, в силу естественных причин вынужденная переходить от коммунальной организации жизненного пространства к системе отдельных квартир, продолжает по инерции рассматривать подъезд, эту относительно обособленную «секцию»

жилого дома, как некую модификацию коммунального пространства, в пределах которого отдельная квартира рассматривается как аналог комнаты в коммуналке, а скажем, двадцатиквартирный подъезд — как эквивалент самой этой коммунальной квартиры. В ней же, как известно, двери открываются из коридора внутрь, что лишний раз подчеркивает доминацию коллективизированного социума над ничтожной его частицей — человеком.

Однако, как и в случае с *дверями власти*, чисто инструментальная, «инженерная» сторона проблемы оказывается все же второстепенной. Значительно важнее здесь иной, социально-философский аспект.

Важно не то, что открываемые внутрь двери легко преодолимы, — значительно важнее, что они усиливают у человека ощущение уязвимости, небереженности перед лицом власти. Двери перестают ощущаться как преграда, защищающая от агрессии внешнего, враждебного мира, — напротив, они пролагают путь для вторжения власти в суверенный частный мир, вписываются в ее глобальную технологическую структуру. Тот самый страх, который делает неприкосновенными и недоступными *двери власти*, просачиваясь сквозь дверь тех-кто-под-властью, ставит их в зависимость от этой власти даже в том стиснутом четырьмя стенами островке частной жизни, который в нормальном обществе все же отделен от власти.

Разумеется, двери сами по себе не есть часть технологий власти в том смысле, который вкладывают в это понятие Мишель Фуко или Валерий Подорога. Технологии властвования суть некие *отношения*, и именно системой этих отношений формируются разного рода чисто инструментальные узлы или механизмы, а не наоборот. Но эти властные технологии, совокупность отношений, составляющие реальную ткань власти, не могут быть идентифицированы без анализа

каких-то материальных индикаторов, будь то элементы архитектурных сооружений, орудия пыток и казни или видео- и аудиоряд информационных телепрограмм.

Страх, чувство вины перед властью (внушаемое самой властью), комплекс социальной и политической неполноценности и порождаемые им многообразные реакции — от фрустрации до агрессии — это уже нечто, формирующее костяк реальных общественных отношений.

Страх является нам в различных ипостасях: есть страх универсальный, экзистенциальный, связанный с самой природой человека как биологического существа (страх смерти) и его неодолимым стремлением к выживанию в окружающем мире, и есть страх перед властью, страх, так сказать, технологический. И тот и другой «вид» страха обладает способностью просачиваться через двери в непосредственное жизненное пространство индивида. Вот как описывает это Франц Кафка в романе «Замок»: «Самое худшее, если... глубокой ночью, когда всем время спать, да и большинство действительно спит, к комнате горничных кто-то начинает подкрадываться. Тут девушки встают с постели... прислушиваются у дверей, становятся на колени, в испуге жмутся друг к другу. И все время слышно, как кто-то крадется к дверям. Пусть бы он уже вошел, все обрадовались бы, но никто не входит, ничего не случается».

Двери защищают мирок частной жизни от вторжения извне и в то же время не дают возможности видеть то, что находится вовне, усиливают чувство неизвестности, неопределенности. Все ждут появления Черного Человека, а он — и это страшно — не приходит, и никто — и это самое страшное — не знает, как он выглядит, в каком облике он предстанет.

Задача власти, культивирующей страх как средство управления социумом, достаточно проста: преобразовать этот экзистенциальный страх в *страх-перед-властью*. В годы массового террора миллионы людей, охваченных страхом, прислушивались к звукам, доносящимся из-за двери: подъехала машина к подъезду? стукнула входная дверь? кто-то стоит на лестнице и держит руку на кнопке звонка? Я вспоминаю рассказ матери о том, как мой дед, простой и к тому же беспартийный рабочий одного из ленинградских заводов, после убийства Кирова сидел ночами на кровати *одетый*, потому что чувство собственного достоинства не позволяло ему допустить, чтобы агенты НКВД застали его ночью в нижнем белье... В нашей системе координат одетый человек, сидящий ночью на кровати и ожидающий звонка в дверь, — избыточное, предельное свидетельство превращения непосредственного жизненного пространства, *дома* отдельного человека, в пространство власти, пронизанное векторами страха перед этой властью и ненависти к ней.

Как избавиться от этого тягостного, разрушающего суверенное человеческое «Я» страха? Один из героев Солженицына, празднующий свой день рождения в тюремной «шарашке», говорит собравшимся за столом друзьям, что обмен свободными мыслями без боязни, без оглядки, без страха — это счастье, которого у них не могло быть на воле и которое они обрели лишь в ГУЛАГе. Только в тюрьме, в лагере, в «шарашке» человек становится свободным от страха перед монстром тоталитарной власти: он уже поглощен этим монстром и, следовательно, свободен от страха перед будущим.

Кстати: рассказывают, что Александра Гинзбурга, руководившего в брежневские времена фондом помощи политическим заключенным в СССР, в день рождения *взяли*, посадили в машину, отвезли в Лефортово,

где машина постояла перед воротами тюрьмы, — а потом, «попугав» его таким немудреным способом, отвезли к районному прокурору и официально предупредили.

Человека, за которым захлопнулись ворота тюрьмы, пугать этими воротами поздно: страх попасть в тюрьму он оставляет на воле.

Литературная ассоциация несколько иного рода. Я вспоминаю пьесу А.Арбузова «Жестокие игры», герой которой принципиально держал дверь из квартиры на лестницу незапертой. Насколько помню, в контексте пьесы незапертая дверь была метафорой открытого сердца, символом протеста против отчужденности людей и т. п. Так, во всяком случае, думалось мне, когда я смотрел «Игры» в театре на Малой Бронной и в Малом, во время гастролей товстоноговского БДТ в Москве.

Сейчас я воспринимаю открытую (или незапертую) дверь как знак избавления от *страха-перед-властью* — во всех ее ипостасях, от политической полиции до криминальных структур. Но открытая дверь в нашем отечестве так и обречена оставаться метафорой, символом, воплощаемым в жизнь лишь в какие-то краткие мгновения и порой в курьезных формах, вроде «дня открытых дверей» в вузах или ПТУ...

Некая антитеза незапертой двери как способу преодоления *страха-перед-властью* — дверной глазок. Индивид, пробивший в двери своей квартиры отверстие и ввинтивший в него этот незамысловатый оптический прибор, не только стремится преодолеть ощущение неуверенности и неопределенности, порожденное неизвестностью происходящего там, вовне, за порогом, но как бы собирается поспорить с властью за право контролировать ближайшие подступы к своей жизненной нише. Но дверной глазок (в отличие от

глазка в тюремной камере) обращен в незаполненное, пустующее пространство, в котором присутствие власти является эпизодическим (в отличие от присутствия заключенного в камере) и всегда неожиданным для ожидающего ее пришествия индивида. Власть может появиться по ту сторону двери в облике милиционера, почтальона, газовщика, агитатора, человека в штатском, издали показывающего некую красную книжечку — удостоверение, да в облике любой фигуры, *вхожей* в жизненное пространство частного человека. Конечно, можно затаиться за дверью, не открывать и тем самым отложить появление власти на своей территории, но избежать его, очевидно, нельзя даже в условиях, когда непосредственное жизненное пространство индивида становится все более автономным.

Действительно, эпоха коммунальных квартир породила массу склок, свар, доносов. Эпоха квартир отдельных, пусть даже и хрущевской застройки, но все же с собственными, не коммунальными кухнями, дала жизнь диссидентскому движению. Но она же в конце концов раскассировала диссидентов на три категории: отправившихся не по своей или, быть может, отчасти даже по своей воле на Запад; отправившихся не по своей воле на Восток; сгинувших в разного рода несчастных случаях, происходивших с ними, по расчетам академика А.Д.Сахарова, на порядок чаще, чем с гражданами, живущими в согласии с властью.

Вероятно, двери, как и любой инструментальный узел, порожденный существующими в социуме технологиями власти, способны провоцировать необходимые власти эмоции и стимулировать воспроизводство этих технологий. Скажем, они способны воздействовать на самооценку индивида, вплоть до создания и поддержания у него комплекса неполноценности. Вот закрылись двери автобуса, и он плавно двинулся с остановки, а рука некоей гражданки с зажатой в ней

сумочкой осталась внутри, сама же гражданка семенит рядом с автобусом и орет благим матом... Вот автоматические двери лифта стиснули на секунду другого гражданина — и тут же снова раздвинулись, а он уже, пятясь, выходит из лифта, он ощущает себя лишним, сверхнормативным, он уже согласен подождать внизу или подняться наверх пешком... Вот кого-то зажало, прищемило с грохотом сомкнувшимися дверями в вагоне метро — и в эту же секунду, возможно, кого-то другого стукнул по коленкам турникет, не переваривший пластмассовый жетон... А кто-то третий не удержал тяжелую вращающуюся дверь — и получил ошутимый пинок... А вот кто-то висит на задней площадке троллейбуса, придавленный полузакрытыми дверями, и делает странные вращательные движения, пытаясь ввинтиться внутрь... Все эти ощущения, от которых застрахованы власть предержащие, передвигающиеся в персональной машине и поднимающиеся в кабинет в персональном лифте, с избытком выпадают на долю «простых» граждан — непосредственных объектов приложения властных технологий.

Перефразируя известный тезис академика Д.С.Лихачева, можно сказать, что российские технологии власти представляют собой подвижное соединение весьма разновременных и разнохарактерных образований, и очень древних, и очень новых. Естественно, столь же разнородны и пестры те «метки», по которым мы пытаемся реконструировать, воспроизвести в своем сознании пространство власти. И жалкие, почти символические, без видимого усилия выбиваемые-высаживаемые двери *тех-кто-под-властью*, и захватанные до черноты миллионами рук двери метрополитена — и новые «врата власти», стальные двери «новых русских», металлические решетки и металлоискатели за дверями коммерческих банков, и выросшая в считанные месяцы узорчатая чугунная ограда вокруг

Белого дома, этот аналог Кремлевской стены, будут сосуществовать, пока власть остается властью. Однако власть вечна; она только меняет маски и лики, но она всегда здесь, всегда присутствует в нашем жизненном пространстве... Но как жить человеку, оставляющему за хилой, почти фанерной дверкой нажитое трудом всей жизни скудное имущество — и тут же созерцающему компанию частных охранников у дверей роскошных, возникших в мгновение ока коттеджей? Как? Я бы, возможно, попытался ответить и на этот вопрос, но для меня он, в сущности, равносителен вечному: «как жить?», вопросу вопросов, на который, кажется, еще никто не дал ответа.

МОСКОВСКИЕ ПИСЬМА

Письмо первое

Сублиманты у власти: заметки о происхождении «политической шизофрении»

Дорогая Н.!

Ваше последнее письмо несказанно удивило меня. Лишь Ваша искренность и чистосердечие, которые я более всего ценю и ценю в Вас, заставляют меня с какой-то долей серьезности отнестись к Вашему последнему посланию. Я бы никогда не поверил, что Вас могут интересовать вопросы столь специальные и абстрактные, как причины политизации и деполитизации нашего общества (уж не печальное ли это следствие нашего знакомства и наших бесед?)

Впрочем, перемещение из шумной, сумбурной и суетной столицы в тихую и, надеюсь, еще чуть провинциальную Калугу и, главное, рождение ребенка меняет менталитет женщины, а ведь женщины и без того труднодостижимые создания, которыми мы, мужчины, так бесстыдно пользуемся и которых так мало понимаем.

Впрочем, быть может, не видя меня все эти годы, Вы по-прежнему полагаете, что я все еще хожу в Лужники на митинги (коих уж, кажется, и нет), читаю газеты и выступаю на собраниях? И с лукавством, присущим любой женщине, даже Вам, хотите занять

меня разговором о том, что *для меня* представляет интерес, хотя бы и о таком несуразном выплеске истории, как российская политика.

Извольте, я принимаю эти правила игры, но только как правила *игры*. И, играя с Вами в эту придуманную Вами же игру, даже попытаюсь изложить Вам некую гипотезу относительно политизации/деполитизации наших соотечественников, проще говоря, высказать свое скромное и необязательное мнение о том, почему, в то время как 90 процентов населения страны утратили всякий интерес к выборам, кандидатам, программам, указам и сессиям, еще 7 — 10 процентов из последних сил пытаются не поступиться принципами и в конечном счете, думаю, неизбежно присоединятся к первым, 1 — 2 — 3 процента индивидов обоего пола идут в политику, ломаются в нее, живут в ней, не мыслят себя вне ее, и поскольку большинство активно действующих политиков в силу понятных причин скопилось в Москве, то «политическая шизофрения», как Вы не без сарказма характеризуете это явление, если она существует, становится чисто московской болезнью.

Начнем с самого начала. Когда-то Зигмунд Фрейд открыл процесс переключения, преобразования нереализованной сексуальной энергии индивида, его *либидо*, полового голода, стремления к сексуальному удовлетворению, в иные формы деятельности, например в деятельность творческую, и назвал этот процесс *сублимацией*. Вы, несомненно, об этом где-то читали (возможно, и в работах самого д-ра Фрейда), слышали и т. д., что избавляет меня от необходимости повторять вещи общеизвестные.

До каких-то пор фрейдизм и политика существовали раздельно, не пересекаясь и, как бы это сказать поделикатнее, не стесняя и не стимулируя друг друга. Фрейдисты исследовали значение сублимации для

творчества великих, таких, как Вагнер (его лучшая, как полагают, опера «Тристан и Изольда» была создана в период безнадежного чувства к некоей фрау Везендонк, замужней, как явствует хотя бы из обращения, даме), Данте, с его вечной и нереализованной страстью к прекрасной Беатриче, престарелый Микеланджело, которому не суждено было реализовать свое влечение к Виттории Колонне и т. д. и т. п.

Как мне кажется, толчком для понимания того, что механизмы сублимации могут быть использованы в политических целях, стала Октябрьская революция 1917 года. Именно в первые послереволюционные годы были проведены эмпирические исследования, показавшие, что революция и активное участие в том, что в те годы было принято называть «социальной» или «революционной работой», провоцирует или, по крайней мере, стимулирует процесс сублимации сексуальной энергии.

В 1922 году некто И. Гельман провел анкетирование среди студентов Свердловского института. (Оговорюсь, что тогдашний Свердловский институт не имел никакого отношения к городу Свердловску, а представлял собой одну из первых партийных школ советской эпохи, причем располагался он, насколько я помню, на Малой Дмитровке, в том знаменитом доме, где сначала было сказано молодежи незабвенное «учиться, учиться и учиться», а в конце концов оказался Театр им. Ленинского комсомола. По иронии судьбы, именно главный режиссер Ленкома Марк Захаров, отчаянно борясь с наследием тоталитарной эпохи и с тем, чему она нас призывала «учиться и учиться», сжег свой партбилет непосредственно во время телевизионного прямого эфира, в случайно оказавшейся на столе пепельнице, что, замечу, для театрального режиссера такого калибра было в постановочном отношении несколько плоским, примитив-

ным решением, а с точки зрения эстетики и вовсе отдавало безвкусицей).

Но я несколько отвлекся, что, впрочем, свойственно эпистолярному жанру. Так вот, по «свердловским» данным И.Гельмана, революция привела к резкому ослаблению полового чувства, особенно у мужчин. Привожу эти данные полностью: революция оставила напряженность полового чувства без изменения: у мужчин — 33,5%, у женщин — 59,0%, усилила его: у мужчин — 13,5%, у женщин — 9,5%, ослабила: у мужчин — 53,0%, у женщин — 31,5%¹.

Тенденция, как говорится, видна невооруженным глазом. Кстати, и сегодня многие психотерапевты, сексологи и т. п. принимают как аксиому тезис о десексуализирующем воздействии революции: сошлюсь здесь лишь на одного из руководителей Всесоюзной ассоциации сексологов Вячеслава Маслова².

Между тем мне, например, выводы Гельмана кажутся несколько торопливыми, а взятая им выборка — не только нерепрезентативной с точки зрения современной социологии, но, более того, чрезвычайно специфической по своему составу. Что меня убеждает в истинности той концепции, которую Гельман пытался обосновать эмпирически, — так это скорее то, что, совсем не желая доказать истинность какой-либо концепции, сделал писатель Андрей Платонов, — блистательный анализ платоновской прозы, затрагивающей и интересующие нас контексты, был проделан философом Валерием Подорогой³.

Зафиксированный Гельманом феномен вызвал у симпатизировавших большевикам российских фрейдистов значительный прилив творческого энтузиазма. Тогда же, по неостывшим еще следам революционных событий, была создана теоретическая база массовой социальной сублимации, призванной служить интересам пролетарской революции. Цитирую А.Залкинда,

человека, который в 20-е годы сумел занять место основного теоретика и пропагандиста революционного (или, что точнее, подчиненного революции) фрейдизма:

«...Все те элементы половой жизни, которые вредят созданию здоровой революционной смены, которые грабят революционную энергетику, гноят классовые радости, портят внутриклассовые отношения, должны быть беспощадно отмечены из классового обихода, отмечены с тем большей неумолимостью, что половое является привычным, утонченным дипломатом, хитро пролезающим в мельчайшие щели — попушения, слабости, близорукости»⁴.

И далее:

«...Советская общественность... изгнала тунеядцев с биологическим избытком (видимо, речь идет об избыточном либидо. — С.К.) и развязала сдавленные силы трудовых масс, тем высвободив их из полового плена, дав им пути для сублимации. Сублимационные возможности советской общественности, т. е. возможности перевода сексуализированных переживаний на творческие пути, чрезвычайно велики»⁵.

Возможно, сегодня Вам это покажется бредом умалишенного или, не дай Бог, морализаторством человека, в силу чисто физиологических причин лишённого возможности вести нормальную половую жизнь. А между тем автору в свое время это казалось Великим Открытием: не случайно в довольно пространный текст приведенные цитаты выделены жирным шрифтом, как квинтэссенция всей обновленной в советском духе теории Фрейда.

И поскольку революция объявлялась в то время высшей формой творческой деятельности, далеко превосходящей в этом отношении литературу, музыку и живопись вместе взятые, то соцфрейдисты видели задачу пролетарской диктатуры в том, чтобы «не то-

пить и не оскоплять половой инстинкт, а превращать его в мощный фонд энергии социального творчества»⁶.

Эти идеи, как мне представляется, были восприняты тогдашней властью, стремительно формировавшей из репрессивного постреволюционного режима тоталитарную террористическую систему.

Я пишу — восприняты, а не заимствованы, потому что здесь есть, как мне кажется, один нюанс. По большому историческому счету заимствовать можно лишь то, что невозможно получить из другого источника. Что же касается д-ра Фрейда, то он, в сущности, был скорее умеющим себя преподнести систематиком, чем гением, и «открыл» он то, что на уровне здравого смысла было давно известно и что уже после Фрейда открывали для себя люди, никогда, возможно, не слышавшие этой фамилии.

Вспомним Маяковского:

*Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.*

Можно было бы подумать, что Маяковский, под влиянием Фрейда, описал механизм сублимации либидо, но не в творческую, а в тяжелую физическую работу; но ведь с подобной же целью выбегали «в глубь двора» во всех странах мира еще тогда, когда не было на свете дедушки и прадедушки д-ра Фрейда. (Забавно, но приведенные мною строчки Маяковского

были — уже на нашей с Вами памяти — почти буквально «обэкранены» в известном фильме «Укрощение строптивого», где Адриано Челентано осуществляет переключение нереализованной сексуальной энергии тоже почему-то ночью, при посредстве дров и — не знаю, как эта штука называется, — такого типично итальянского топора на очень длинной ручке.)

Как мне представляется, Фрейд создал терминологический, понятийный ряд, научно обозначивший явления и механизмы, уже постигнутые обычным здравым смыслом, а также некую научную аргументацию своей концепции, вроде интерпретации оговорок, описок, сновидений и т. п., аргументацию, призванную научно доказать вещи, зачастую весьма очевидные: пациентка не удовлетворена в браке, ее либидо/сексуальность/сексуальные фантазии не реализованы, она страдает на этой почве неврозом...

Таким образом, нечто, о чем, в меру своих интеллектуальных возможностей и житейского опыта, догадывалось множество людей, получило совершенно научное обоснование — это ли не призвание истинной науки?!

Так вот, когда я говорю, что идеи соцфрейдистов были восприняты властью и *реализованы*, я вовсе не имею в виду, что томик Фрейда лежал у Ленина на столе рядом с «Капиталом» Маркса, а у Сталина — рядом с книгами самого Владимира Ильича. Кто знает, может, Сталин вынес основы новой государственной политики в области пола из опыта своего пребывания в таком специфическом микрокосме власти, как духовная семинария? А Ленин воспринял аскетические идеи народничества как адекватно понятые стремления народа?

Однако восприятие чьих бы то ни было идей осуществлялось послеоктябрьской властью в своеобразной форме: если для осуществления курса сверхинду-

стриализации и ограбления деревни необходимо было политически уничтожить Троцкого и Преображенского — очевидно, истинных авторов идеи, — то неудивительно, что процесс тотальной сублимации населения Советской России смел едва ли не всех сочувствовавших революции (или пытавшихся вписаться в новую действительность) фрейдистов. Это было практически неизбежно, ибо вождь Октября, как это явствует из заметок Клары Цеткин, считал теории Фрейда если не «кустарной пачкотней» (воспоминания Цеткин можно понять и так), то, во всяком случае, псевдонаукой, наукой в кавычках. Столь же известно мнение вождя о том, что изобилие «теорий пола» на Западе (из которых теория Фрейда была, конечно же, самой популярной) имело своей целью оправдать «чрезмерную половую жизнь» буржуазии как класса.

Одновременно была предана анафеме так называемая теория «стакана воды» как «совершенно не марксистская»; между тем упомянутая теория пропагандировала полную сексуальную свободу индивида, хотя, вероятно, в неизбежной для постреволюционного времени несколько курьезной и утрированной форме.

Власть однозначно сделала ставку на сублимацию сексуальной энергии, обращение ее в энергию, так сказать, революционного преобразующего действия и пресечение любых попыток легализовать сексуальную свободу; это было тем легче и естественнее для власти, что свобода сексуальная оказывается проявлением, и, быть может, самым характерным проявлением, свободы как таковой, а установление и укоренение принципов свободы отнюдь не было целью той политической группировки, которая пришла к власти в октябре 1917 года.

Естественно, в тоталитарном обществе сублимационные механизмы и технологии вводились так же, как и все прочие технологии власти, — насильем:

табуирование эротизма, в том числе в искусстве; жесткое разграничение «конвенциональных» форм половой близости от «патологических» и уголовное преследование гомосексуализма; запрещение аборт, то есть принципиальное отрицание права индивида относиться к сексуальному акту как к акту наслаждения, не связанному с потенциальным деторождением; наконец, полное запрещение сексуальных контактов в рамках тех или иных микрокосмов власти (например, общежитий).

Сталин, возможно, никогда не изучал Фрейда и осуществлял тотальную десексуализацию общества и сублимацию населения интуитивно или на основе своеобразно понятого и истолкованного принципа революционной целесообразности; но он, по всей видимости, все же отдавал себе отчет в том, насколько эффективны и действенны механизмы массовой сублимации и даже сверхсублимации, полного, абсолютного перевода либидо в сферу «социальной активности», делавшего эту активность почти маниакальной. Н.С.Хрущев пишет в своих воспоминаниях о некоей Николаенко, считавшей всех украинцев националистами и петлюровцами и призывавшей арестовать их всех поголовно (Хрущев тогда работал в Киеве). Сталин, чрезвычайно чувствительный к информации о разного рода заговорах, был склонен поначалу отнестись к Николаенко всерьез и даже упомянул ее фамилию в одном из своих выступлений. Но когда он услышал, что она, молодая, здоровая женщина, обижается на равнодушное к ней отношение красных командиров, видимо, наконец понял причину невероятной разоблачительной энергии этой дамы и бросил: «Что ж, подыскать ей мужа надо»⁷.

Андрей Платонов еще в 1926 году, когда советским фрейдистам дозволено было пропагандировать свои взгляды в научных и популярных журналах, а

власть относилась достаточно индифферентно к «половому вопросу», написал потрясающей силы вещь, названную им «Антисексус»⁸. «Антисексус» — это, конечно, не разоблачительный гротеск, саркастически обыгрывающий моральное разложение Запада, и не памфлет против безголовых приверженцев безграничной половой свободы в духе теории «стакана воды», и даже не жутковатая антиутопия. Нет, это нечто, выношенное писателем, который уже понял, что происходит в этой стране, и был на пороге «антисоветских» (вероятно, можно и без кавычек) «Чевенгура» и «Котлована». Платонов нашел удивительный художественный образ грядущему: вместо тотальной десексуализации и сублимации он изображает некую машинерию, техприспособление, безгранично раскрепощающее либидо мужчины, полностью снимающее половой голод и в любой момент превращающее его в насыщение, пределы которому ставят только желания клиента и возможности организма. Что касается женщины, то ее данное изобретение освобождает от половых обязанностей и половых последствий, чтобы «увеличить актив» нашей ли, не нашей ли, все равно какой страны. Иными словами, позволяет полностью употребить женщину на благо «активной созидательной работы».

На самом деле Платонову удалось сказать главную правду: нарождающееся тоталитарное государство подчинит себе, подомнет под себя все: все права, все свободы, включая право на независимую от режима интимную жизнь; оно «вскроет» семью, как богатый гурман в ресторане вскрывает устрицу. И не случайно платоновский «Антисексус» не был опубликован на родине писателя при его жизни; но не был он опубликован и в период хрущевской оттепели, и при либеральном дедушке Брежневе, и в первые годы горбачевской перестройки...

Конечно, эволюция системы после Сталина, превращение террористической тоталитарной системы в относительно более «мягкую» бюрократическую сделали многие табу фиктивными и создали полуофициальные пути, при помощи которых не робкого десятка индивид мог, рискуя сравнительно немногим, их, эти табу, если не нарушить, то обойти. Но система тем не менее существовала, худо-бедно функционировала, а фикция иногда вдруг оказывалась реальностью.

В моей архивной коллекции есть несколько документов или, точнее, блоков документов, показывающих, как на рубеже 60—70-х годов функционировал такой микрокосм власти, как студенческое общежитие (речь, в частности, идет о филиале Дома студентов МГУ на Ломоносовском проспекте). Так вот, факт сексуальной близости студента и студентки в стенах ФДС рассматривается администрацией как один из наиболее нетерпимых, вызывающих, «аморальных» и сурово наказуемых проступков, выявление, фиксация и пресечение которых с особым рвением осуществляется церберами местного масштаба типа незабвенного сологубовского Передонова, а также придает особый смысл и азарт деятельности так называемых оперативных комсомольских отрядов.

Приведу несколько примеров, ибо Вы, дорогая Н., кажется, просто не успели к тому времени родиться и вряд ли представляете себе общежитие конца 60-х.

Из журнала дежурных администраторов:

«22 марта 1969 г. Приступил к дежурству в 9 часов утра. Во время дежурства Оперативным отрядом МГУ был проверен 3-й корпус (ФДС. — С.К.) на предмет выявления лиц, находящихся в корпусе и оставшихся на ночлег без всяких оснований. Надо заметить, что проверка была проведена успешно; членами ОКО были перекрыты этажи и вход в корпус, а также с обеих

сторон корпуса стояли члены ОКО, так что возможности выйти незамеченным из корпуса не было. Результаты этой проверки:

1) В комнате 1<...> проживающие студенты С-ин В. и Ч-в В. оставили на ночь двух девушек: П-ову Т.В. (иностранную, с сомнительным местом жительства) и студентку юридического факультета Л-ву С.И., проживающую на 5-м этаже, которая пыталась выпрыгнуть в окно.<...>

2) Иностранная (С.К-ва) осталась на ночь в корпусе в комнате № 2<...> у своей сестры К-вой Н. Также пыталась выпрыгнуть в окно.

3) В 4-м корпусе в 2<...> комнате Г-б Е. оставила на ночь иностранного В-ова В.И. <...>

И так далее — примерами можно было бы заполнить все это письмо. А ведь, заметьте, «комната 2<...>» — это второй этаж; отсюда можно сделать выводы о степени страха перед нарушением сексуальных табу и полагающейся за это мере наказания...

Постепенное одряхление системы, а затем и крах однопартийного монолита привели к ряду неожиданных последствий. Во-первых, у распадающегося тоталитарного Левиафана появились проблемы поважнее, нежели забота о непрерывности процесса массовой сублимации. Во-вторых, творческая деятельность, а в особенности творческая деятельность, базирующаяся на массовом высшем образовании (например, творческая деятельность инженера, врача, научного работника, преподавателя), перестала обеспечивать достойное существование и самого творчески сублимированного индивида, и его семейства. А поскольку сознательное, подсознательное и бессознательное связаны достаточно сложными и многообразными узами, то значительная часть индивидов, проживающих в этой стране, почти одновременно поняла, что сублимироваться в творческом акте — и невыгодно, и неинтересно, и малоперспективно. Подавление либидозной энергии

пошло по другому пути, причем пути в основе своей добровольному. Где-то к 1987—1988 годам, когда в нашем обществе наконец появилась политика в европейском смысле этого слова, а не ее суррогаты, представлявшие различные закамуфлированные формы чисто административной деятельности, — так вот, именно к концу 80-х наше общество, тогда еще СССР, стало воистину обществом массовой добровольной политической сублимации. Эта тенденция, вероятно, достигла своего пика в ходе митинговой эйфории 1989—1990 годов, а также в связи с такими событиями, как XIX Всесоюзная партконференция, I съезд народных депутатов СССР и знаменитый августовский путч 1991 года.

Однако названные три-четыре года были лишь моментом, точкой в истории России. После 1991 года развитие явственно пошло в двух противоположных направлениях: в сторону преодоления насильственной массовой сублимации, доставшейся в наследство от десятилетий советизма, выдавливания из себя не только «раба», но и «антисексуса», а-эротичного, а-сексуального начала (пусть основной массы населения, простого «советского человека»), и, напротив, нарастания политической сублимации тех, кто избрал политику сферой приложения своих творческих сил и социальной активности.

Можно было бы сказать, что политики в нашем обществе поставили себя в ситуацию двойной сублимации: не преодолев последствий тотальной, государственной сублимации, навязывавшейся тоталитарным режимом, они, на этом социокультурном фоне, попытались трансформировать свое либидо в политическую деятельность, но уже как бы нового, демократического типа.

Подавляющая же часть населения страны продолжала то скрытое антисублимационное «движение

сопротивления», которое (в посильных и часто пассивных формах) не исчезало ни на месяц, ни на день. Движение это включало в себя совокупность самых различных практик — от анекдотов (в России на девять десятых «неприличных») и использования мата как имеющего параллельное хождение эквивалента русского языка до кустарного распространения весьма убогих порнографических открыток и стремления, вопреки рекомендациям ушедших в небытие теоретиков типа А.Залкинда и суровому прищурю власти, при первой возможности расширять число сексуальных партнеров (благо возможности в изобилии предоставляла сама ориентированная на принципы коллективизма власть — пребывание на курорте, банкет по поводу дня рождения сослуживца, коллективный выезд на природу и т. д.). Но об этом «сопротивлении», дорогая Н., мне бы хотелось поговорить отдельно... возможно, в следующем письме, если Вы, конечно, не потеряете интереса к теме...

Мне также кажется, что мое письмо к Вам было бы неполным и даже в чем-то ущербным, если бы я не дополнил фрейдизм и постфрейдизм (сознательно использую здесь этот аморфный и неопределенный термин) каким-либо новым законом или хотя бы впервые открытым механизмом взаимодействия чего-нибудь с чем-нибудь... Во всяком случае, независимо от приговора, который вынесут моей идее последующие критики, я посвящаю ее Вам...

Дело в том, что реализация либидо является по самой своей сути естественным процессом, сублимация же — производное социальных табу и запретов. Поэтому либидо достаточно скоро адаптируется к тому уровню сублимационного давления, которое в состоянии обеспечить общество и применить к себе сам индивид. Либидо *в принципе* сильнее механизмов сублимации, оно разрушает их, прожигает их — изви-

ните за мрачноватое сравнение — подобно тому, как радиация прожигает разного рода бетонные саркофаги.

Подобное оживление либидозной энергии в свою очередь требует либо сознательной (или хотя бы бессознательной) десублимации и гармонизации сфер сознательного, подсознательного и бессознательного, либо ужесточения механизмов сублимации. Вот почему кумиру митингов уже мало аплодисментов толпы — он мечтает стать депутатом парламента, потом депутату становится недостаточно заседать в комиссиях и мелькать на экране телевизора — ему хочется иметь собственную партию или фракцию — а потом ему хочется реальной власти. А власть в нашем посттоталитарном обществе — это пока только власть исполнительная...

По той же причине военному хочется новых звезд на погонах — а потом ему хочется перестать быть военным декоративным, «говорящей головой» на телеэкране; ему нестерпимо (шевеление либидо глубоко внутри и ответная антилибидозная реакция) хочется зарядить вверенное ему оружие и хотя бы слегка пострелять, а потом уже не слегка, и желательно по движущейся, живой мишени и, может быть, из установок типа «Град», а возможно, и на танке лихо ворваться в непокорный город...

Не сомневаюсь, что давление либидозной энергии, ее иррадиация сквозь заслоны политической сублимации могут привести к патологии; и когда на протяжении многих месяцев мы постоянно слышим, что наши политики, вся наша власть невменяемы, то мы, в сущности, слышим не политические или публицистические выпады, а диагноз, который в более развернутом виде звучал бы, вероятно, так: социальная патология на почве недостаточности механизмов сублимации.

И когда и военные специалисты (как наши, так и зарубежные), и дилетанты в один голос изумляются той военной бездарности, с которой ведутся боевые действия на Северном Кавказе, то им просто не приходит в голову, что дело здесь не в стратегических или тактических просчетах или недостатке мозговых извилин у высшего командного состава. На самом деле это лишь результат разрыва в механизме сублимации, проявление подавленного мужского либидо, олицетворением которого оказывается танк с торчащей из башни пушкой, кое-что сильно нам напоминающей...

Впрочем, я заканчиваю, умолкаю, наступаю на горло собственной песне, и, боюсь, слишком поздно, уже преступив грань Вашего целомудрия. Ведь даже Чаадаев не писал госпоже П. столь длинных и, главное (я перечитываю последние строки), содержащих столь фривольные пассажи писем... Но надо ли Вас вновь и вновь уверять в моей постоянной глубокой дружбе и уважении к Вам? Лышу себя надеждой, что нет.

¹ См.: «Вестник знания», 1926, № 24, с. 1569.

² См.: Революция мешает сексу. — «Куранты», 23 апреля 1991 г.

³ Подорога В. Евнух души. Позиция чтения и мир Платонова. — В кн.: Параллели (Россия — Запад — Восток). Альманах философской компаративистики. Вып. 2. М., 1991, с. 33—81.

⁴ Залкинд А. Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата. — «Родник», 1989, № 9, с. 65.

⁵ Там же, с. 68.

⁶ Сорохтин Г.Н. Социальное использование половой энергии. — «Вестник знания», 1926, № 24, с. 1561.

⁷ Хрушев Н.С. Воспоминания. — «Знамя», 1989, № 9, с. 24.

⁸ «Новый мир», 1989, № 9.

Письмо второе

Россия. Конец века. Десублимация общества

Здравствуйте, мой дорогой и нежный друг!

Вы чрезвычайно меня огорчили, заметив, что мое недавнее послание к Вам, во-первых, местами походит на статью, автор которой настолько увлечен своей идеей, что позабыл все каноны эпистолярного жанра и, самое главное, запямятовал, что у текста, который он создает не покладая рук, буквально не отнимая их от клавиш пишущей машинки, есть реальный адресат, и этот адресат — Вы. А во-вторых, что письмо это все-таки недостаточно московское, и практически ничего в нем не напомнило Вам московскую удивительную атмосферу, неизъяснимый дух столицы, не так давно Вами покинутой (надеюсь, на время, не навсегда); ведь гипотезу о тотальной сублимации населения тоталитарным режимом можно было бы развивать... да хотя бы у Вас в Калуге или в утопающей в яблоневых садах Тарусе, где даже горком партии (ныне бывший) — скромное, милое двухэтажное здание... Собственно, огорчили меня не сами замечания (я стараюсь следовать принципу: поэт, ты сам свой высший суд), а то, что, перечитав упомянутый Вами текст, я не мог не признать Ваши упреки справедливыми.

Затем я, правда, несколько приободрился, рассудив, что эпистолярный жанр в XX веке в принципе находится в процессе умирания: люди перестают писать друг другу, и причин тому множество. В самом деле, если в столь нежно любимом нами XIX веке (не говоря уже о временах екатерининских) письмо было основным и наиболее распространенным проявлением

письменной культуры, умение написать письмо было составной частью приличного воспитания, подобно знанию французского, умению танцевать или, для девиц, музицировать на фортепьяно, то сегодня можно было бы перечислить не менее десятка видов письменной культуры, укоренившихся и расцветших в нашем обществе и отодвинувших на второе-третье-десятое место «просто письмо». Не верите? Давайте попробуем. Я перечисляю: официальная автобиография, непереносимое условие приема на работу; школьное/выпускное/вступительное сочинение; донос; письмо в газету; жалоба в органы власти (милиция, суд, исполком/префектура и т. п.); объяснительная записка; заявление в ЖЭК или РЭУ... это уже семь? Далее: стихи/рассказы/пьесы начинающих поэтов/писателей/драматургов (а кто в юные годы не породил хотя бы двух-трех стихотворных опусов, совершенно необходимых для того, чтобы убедиться в скромной поэтической одаренности собственной натуры?); поздравительные открытки, в жанровом отношении ничего общего не имеющие с письмом... это уже девять... и завершим список очень, очень советским видом рукописной деятельности (советским хотя бы потому, что в использовании продукта одной деятельности имеется элемент конспиративности, сыгравший не последнюю роль в приходе к власти «партии нового типа» в 1917 году). Вы, конечно, уже догадались, что речь идет о шпаргалках.

Такова первая десятка советско-постсоветского «ручкотворного» хит-парада. В американском списке, наверное, нашлось бы место и для доверенности на ведение дел, и для долговой расписки, и для завещания... но мы с Вами в России, а не в Америке...

Можно, конечно, объяснить затухание эпистолярного жанра пришествием техногенной цивилизации, принесшей ускорение ритма жизни, создавшей техни-

ческие средства, обеспечивающие мгновенное личное общение или хотя бы одностороннее получение информации, не требующее нахождения лично знакомого вам свидетеля в точке своего свидетельства: телефон, телевизор, компьютер и компьютерные игры, также способные создать некий суррогат общения...

Но *когда* исчезает культура письма в России и *когда* приходит в нашу страну массовая телефонизация? Между этими двумя процессами Вы легко обнаружите существенный по протяженности хронологический провал, ну, скажем, 30-е годы. Вероятно, исчезновение культуры письма в России можно интерпретировать и иначе: устремлениями тоталитарной власти, стремящейся формировать гомогенные социальные тела и исключить из жизни общества всякое не контролируемое ею, властью, общение.

Достижение этой параноидальной цели: *общение-только-через-власть*, посредством форм и способов, отобранных и санкционированных властью, — означает поглощение индивида властью и десубъективацию общества. «Десять лет без права переписки», таким образом, далеко не случайно стали символом физического исчезновения человека, ибо пребывание на свободе «без права переписки», то есть без права сказать не доходящее до ушей власти и неподконтрольное ей слово, безусловно, стало одним из симптомов разрушения гражданского общества технологической машиной всемогущей власти.

Кроме того, власть, создав множество текстов власти, уже познала силу текста как такового, текста, который, будучи однажды созданным, начинает свое самостоятельное и не столь легко, как бытие его автора, контролируемое существование.

Я, между прочим, порой думаю, что все те потенции, которые не могли быть реализованы в безжалостно, незаконно и практически открыто

перлюстрируемых «почтовых отправлений», в сотнях тысяч и миллионах ненаписанных и неотправленных писем, воплотились в какой-то степени в субкультуре «самиздата», этого кошмара и одновременно порождения власти 60—70-х годов, ибо «самиздат» был и сопротивлением этой власти со стороны какой-то, вероятно, мизерной части общества, и оправданием продолжающегося насилия этой власти над обществом. Конечно же, сопротивление было слабым, порой символическим; возможно, по молодости лет, Вам не пришлось с ним столкнуться даже косвенно. А я прочел «Собачье сердце» в машинописном «самиздатском» варианте, до сих пор помню эту ужасную копию с десятками опечаток на каждой странице и сползающими куда-то вправо и вниз последними строчками... То же самое было с «Улиткой на склоне» братьев Стругацких. «Лолиту» я прочел в каком-то данном на одну или две ночи ксероксе, впрочем переплетенном в виде альбомчика, и аксеновский «Остров Крым», и «Раковый корпус» — тоже ксерокопированные листы, но уже сложенные в объемистую канцелярскую папку...

Так что цивилизация и власть синхронно уничтожают интимно ориентированное (то есть предназначенное только для двоих — отправителя и адресата) письмо как форму связи между отдельными, пытающимися остаться вне толпы и вне формируемых властью микрокосмов или коллективных социальных тел индивидами, и эта глобальная тенденция отчасти оправдывает несовершенство моего эпистолярного стиля... И к тому же что может помешать мне проявить некоторое пренебрежение к этой генеральной линии развития и по мере сил, времени и способностей освежать в памяти нетленные образцы жанра? Что-то вроде написанного Тургеневым Полине Виардо: «Мой самый любимый дорогой друг, сейчас пол-

ночь, вы едете по железной дороге в направлении Эрфурта и Лейпцига — надеюсь, что вы спокойно спите, в то время как я мысленно сопровождаю вас отсюда, закутанную в теплую шубу, с теплым пледом на ваших дорогих ногах, в полутемном и хорошо натопленном вагоне. — Если вы спите, является ли вам верный ваш друг в этом далеком Петербурге, неустанно прижимающий к сердцу ваше горячо любимое изображение и считающий дни, которые еще отделяют его от вас...» Это, кстати, перевод с французского, и перевод не адекватен оригиналу: Тургенев всем своим корреспондентам, с которыми не был «на ты» и на короткой ноге, по-русски писал: «Вы», «Вас», «Ваше», независимо даже от пола адресата. Увы, даже в полном собрании сочинений и писем Тургенева французское «vous» механически переведено как «вы», со строчной буквы, что, конечно же, ужасно... Но я уже сейчас пишу Вам, бесценная моя Н., — *Вы*, и кто знает, быть может, через год-два каждое мое послание к Вам превратится действительно в письмо, а не будет, как сейчас, чем-то иным, лишь облеченным в условную форму письма?..

* * *

Итак, сюжет, который остался за пределами моего предыдущего послания к Вам: «движение сопротивления» против тотальной сублимации общества, его формы, парадоксы, национальные особенности.

Прежде всего, мне кажется, что формы отстаивания либидо как некоей общественной ценности, элемента генофонда нации, наконец, условия нормальной жизни индивида не могли не быть адекватными способам десексуализации общества, навязанной властью: если последние были грубы, примитивны и, в сущности, основаны на насилии — насилии физическом, психологическом, экономическом,

идеологическом, в конце концов, насилии символическом, — то и способы противостояния не могли быть абсолютно произвольными. Они не содержали элементов эротики в западном понимании этого слова, зато были пропитаны спорами «похабщины» того специфического рода, которую мы обнаружим в некупированном издании русских народных сказок, собранных и изданных А.Н.Афанасьевым. Когда-то Белинский писал: «Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, холуханы, жеребцы? — Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонства, бесстыдства?» Не думаю, чтобы Белинский был совершенно прав даже для своего времени; героями «похабной сказки» становятся и солдаты, и купцы, и генералы, не говоря уже о разного рода зверье... Ясно, однако, что еще задолго до Октябрьской революции «похабная сказка», бесцензурная, как и любая устная речь, была средством десакрализации как «священства», так и «царства», но, помимо этого, и частью некоей народной субкультуры, противостоящей официальной культуре православия, культуре, отчетливо не гедонистической и отстаивавшей воздержание как одну из главных своих добродетелей.

Частью этой субкультуры являлась и народная «непристойная» частушка, в отличие от народной сказки продолжающая воспроизводить себя как вид народного творчества и по сей день. (В голове сразу возникает масса примеров, причем современных, но что за радость привести первые две строчки — и поставить многоточие вместо двух последних?)

Что же касается сказки, то русская народная сказка, как мне, неспециалисту, кажется, умирает как жанр народного творчества (уточню: как жанр живой,

постоянно пополняемый новым материалом, жанр самовоспроизводимый) вскоре после большевистской революции. Почему два этих процесса — процесс революционной ломки старого мира и процесс прекращения самовоспроизводства одного из видов фольклора — совпали во времени, я не знаю. Мне кажется только, что лежащие на поверхности, самоочевидные ответы здесь недостаточны.

Но замечу, что пресечение сказки как живого, возобновляемого источника народного творчества совпало с попытками власти использовать сказку для поддержания мифологии новой власти (так, в 1930 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книжка «Ленин в русской народной сказке и восточной легенде»).

Очевидно и другое: примерно в это же самое время на смену русской «похабной» сказке приходит анекдот, *неприличный* анекдот, затрагивающий не в последнюю очередь и сферу «святого», «сакрального», насаждающегося властью как культ или образец для восхищения и подражания (Владимир Ильич и Надежда Константиновна; Василий Иванович, Петька и Анка и т. д.). Сюда же входит огромное количество анекдотов про Леонида Ильича («если рассказывают обо мне, значит, любят меня», — говаривал, если верить П.Е.Шелесту, пятизвездный генсек) вплоть до совсем недавнего «наезда» на правительство, у которого «два больших розовых Сосковца».

Анекдоты такого рода вторгаются в стерилизованное властью пространство, раскачивают каркас мифа власти, которая, как заметил однажды Валерий Подорога в беседе с автором этих строк, обладает поразительной способностью к собственной мифологизации: «она никогда не хочет быть, а хочет лишь казаться». Впрочем, вся эта беседа опубликована в том, вышедшем после полуторагодичного перерыва, номере журнала «Философские науки», который я, кажется, успел

то ли показать, то ли даже подарить Вам до Вашего отъезда.

Таким образом, десублимационные импульсы в обществе суть одновременно способ демифологизации власти, как ни скучно и тяжело (совсем не по-тургеневски) звучит эта фраза.

Наконец — и это, возможно, главное, — тотальная социальная сублимация имела лишь весьма ограниченный успех как общественная практика. «Он с ней живет» — «она с ним живет» — это были, на протяжении семи послеоктябрьских десятилетий, едва ли не самые распространенные клише, определяющие характер отношений между мужчиной и женщиной в государстве, объявившем себя социалистическим. И это положение, собственно, лишь отражало ту реальность, что сублимационные потуги власти означали нечто совершенно различное для слоя людей, которым власть мало что могла и хотела дать, а могла лишь нечто отнять, например свободу, и для тех, кто зависел от власти двояко: как потенциальная жертва развязанного властью террора и как потенциальный субъект политической (партийной, административной, хозяйственной) карьеры, карьеры, поддержанной властью и совершаемой при ее помощи.

Вспомним знаменитого «Чонкина»: сожительница главного героя могла оповестить всех без исключения, включая Тех-Кого-Надо, что она жила с солдатом Иваном Чонкиным и теперь вот на сносях... А как насчет нижних, средних и верхних слоев номенклатурной пирамиды? Променял законную супругу на сексапильную секретаршу — и ты уже не министр или зам, а посол или, не дай Бог, торгпред в каком-нибудь заштатном Занзибаре, до которого, как говаривал классик, хоть год скачи, все равно не доскачешь.

Иными словами, «верхи» и «низы» общества, вероятно, были стерилизованы/сублимированы/десексу-

ализированы в существенно разной мере, что отчасти и предопределило специфические формы нынешней десублимации и происходящую совершенно по Фрейду трансформацию либидо у новой элиты, во всяком случае, элиты политической.

Но десублимация общества как процесс означает не только возможность расширения сексуальных практик де-факто (хотя это немаловажная его составляющая), но и их легитимацию, их становление в качестве социальной нормы, но не всеобщей универсальной нормы (как выразился, кажется, Черчилль, «в СССР все, что не разрешено, то запрещено, а что разрешено, то обязательно»), а нормы как одной из возможных и признанных обществом форм поведения и жизненных стратегий, как элемента достаточно плюралистически понятой нормативности и весьма широкого набора ненаказуемых и в той или иной степени легитимированных практик.

Скажем, объявления в газетах типа «Частная жизнь» или «Атолл» начала 90-х свидетельствуют, что определенного уровня легитимации достигла в посттоталитарном обществе не только женская проституция (объявления типа «очаровательные девушки для состоятельных господ»), но и, скажем так, мужской анонимный платный секс (какие-то внутренние барьеры мешают мне привести в письме к Вам тексты соответствующих рекламных объявлений). Впрочем, справедливости ради надо заметить, что чуть позже с «Атоллом» что-то произошло, и это издание перестало печатать не только рекламные объявления с полуодетыми красотками и номерами телефонов, по которым их можно было *заказать*, но даже безобидные объявления о знакомствах, ограничив себя исключительно объявлениями брачными, чем, как мне кажется, весьма ослабило свои позиции в конкурентной борьбе с аналогичными изданиями, «газетами бесплатных

объявлений» — «Из рук в руки» и «Все для вас» — и отчасти предопределило собственную печальную судьбу.

Кстати, Н., если Вы перечитаете последние строки, то увидите, что и Ваш упрек в отсутствии в моих посланиях московского колорита был мной, по мере возможности, учтен...

Но я возвращаюсь к нашей теме — десублимации постсоветского пространства. В какой-то степени была легализована видеопорнография (именно легализована — это, в данном контексте, более точное слово, чем легитимирована, ведь легитимность салона, где прокатывают копии безлицензионных видеофильмов, существенно ниже, чем печатных изданий, как-никак подпадающих под действие закона о печати). Зашевелились и стали организовываться в некое подобие партий или групп давления сексуальные меньшинства. Хотя активность последних, как мне кажется, была ничтожной не только в сравнении с аналогичными движениями на Западе и даже в бывшей околосоветской Восточной Европе, но и в контексте процесса десублимации постсоветского общества в целом.

Последнее небезынтересно, ибо я говорю о российских национальных особенностях преодоления длившегося многие десятилетия сублимационного давления власти на общество; но следует иметь в виду, что аналогичные попытки сублимировать общество в тех или иных масштабах, в те или иные времена предпринимались и в других странах, в том числе и в тех, которые мы относим к цивилизованным и демократическим. Например, известно, что сенатор Маккарти (а не любимый Вами Пол Маккартни, экс-битл, автор “Yesterday” и “Eleanor Rigby”, печальной песни об одинокой и несчастной девушке Элеоноре, которой, как я слышал, в Англии даже поставили памятник), — так вот, сенатор Маккарти был ярым гомофобом, и

выявить в процессе сенатских слушаний гомосексуалиста было для него едва ли не большим удовольствием, чем сорвать личину с замаскировавшегося коммуниста, не покладая рук ведущего антиамериканскую деятельность.

Но в Америке не было Октября, тоталитарного режима и ГУЛАГа; попытки десексуализации носили там более разрозненный и бессистемный характер, вырождались в борьбу по достаточно частным вопросам и неспособны были повлиять по крайней мере на жизнь крупных городов и формирующиеся новые субкультуры, в которых секс занимал одну из доминирующих позиций и в качестве ценности, и в качестве социальной практики.

Поэтому и антисублимационные движения приняли там совершенно иные формы — от защиты и полной юридической легитимации отношений между лесбиянками (здесь я с грустью вспоминаю такую талантливую и такую несчастную Мартину Навратилкову, заработавшую своей теннисной ракеткой миллионы долларов и чуть ли не наполовину разоренную, с соблюдением всех юридических формальностей, своими алчными подругами) и вплоть до попыток женщин-режиссеров, чаще всего бывших порнозвездочек или активисток феминистского движения, снимать свое собственное, соответствующее переосмысленным идеалам феминизма, «порно», иными словами, заниматься тем, что еще недавно считалось безусловным насилием над женщиной и ее человеческой индивидуальностью посредством кино-фото-видеотехники, едва ли не квинтэссенцией пресловутого «сексизма».

Но вернемся все же к России, к нашей, оказавшейся столь необъятной теме: сублимации/десублимации советского/российского общества. Несколько слов в дополнение к тому, о чем я так подробно писал в предыдущем своем «московском письме», о полити-

ческой сублимации. Вы знаете, видимо, — не у всех наших политиков опилки вместо мозгов, как у Винни-Пуха (хотя и из Москвы и, вероятно, из Калуги порой кажется иначе). Некоторые из них, выйдя не из стен Йеля или Гарварда, а из сборочного цеха или правления колхоза, сумели сохранить некий инстинкт, подсказавший им, что в обществе нечто происходит, и происходит это не потому, что русофобы и сионисты завалили все подземные переходы гнусной своей порнографией, а скорее, наоборот, — лотки в подземных переходах заполнились хрен знает (пардон!) чем, потому что народ вдруг изменился и, как писал лет двадцать пять назад поэт Андрей Вознесенский, захотел «голового, голового, голового»... (Кстати, загляните на досуге в сборничек «Треугольная груша» Вознесенского — если Вам не случалось до сих пор держать его в руках, то Вы, вероятно, обнаружите немало для себя странного и интересного.) Так вот, я уж не знаю, как эти политики назвали для себя то, что американцы именуют sexual drive, но они поняли, что сексуальной стерильности как части политического имиджа уже не только не требуется — напротив, она, может быть, стала совершенно бесполезной, а то, чего доброго, и вредоносной.

Во всяком случае, я помню разбирательство (правда, не затянувшееся) в последнем из наших Верховных Советов по поводу будто бы имевших (или не имевших) место интимных связей видного депутата Николая Ильича и еще более видного деятеля Руслана Имрановича с некоей Д.А., бывшей «мисс МГУ», не отличавшейся особым пуританством в сфере личной жизни. Более или менее отчетливо припоминаю на трибуне Николая Ильича, Героя Труда, выпускника Высшей партшколы и харизматического лидера одной, до сих пор еще существующей (но уже, кажется, без него), партии. Не столь даже важно, *что* он говорил:

то ли что никто не имеет права лезть грязными лапами в его личную жизнь, а он ни перед кем не обязан отчитываться, где он, с кем и когда, то ли что все эти инсинуации просто смешны и этого не было, потому просто, что быть не могло никогда; важны не слова и фразы, а стоящие за ними *смыслы*. А смыслы были таковы: я, конечно, буду все отрицать, поскольку так принято, хотя на это «принято» я, в общем-то, чихать хотел... Но между нами говоря, мужики... вы же меня с полуслова понимаете и ни один из вас меня не осуждает... так что того же и вам желаю, а раскручивать вам этот сюжет — себе дороже, потому что народ меня поймет, народ не осудит... Не знаю, кому как, а мне показалось, что за все отнюдь не короткие годы депутатства Николая Ильича это был его звездный час — несмотря на то, что и до и после он произнес с трибуны множество колоритнейших речей и речений.

И вот Николай Ильич — в Думе, а где те моралисты, которые подбрасывали Николаю Ильичу и Руслану Имрановичу самые коварные вопросы после скандальных газетных публикаций? Впрочем, большинство этих моралистов тоже в Думе...

Но мы с Вами вновь отклонились от темы, хотя и вернулись из Америки в Россию... Сосредоточимся и вспомним: мы говорим о *тех-кто-под-властью* и об их попытках десублимировать себя, а вместе с собой, естественно, и постсоветское, посттоталитарное общество как таковое. Я уже вскользь упоминал об объявлениях в «Атолле» и «Частной жизни» как о своеобразных индикаторах, материальных обнаружениях процесса легализации (что не тождественно легитимации) проституции в нашей трехцветной с августа 1991 года стране. Но с конца 80 — начала 90-х наблюдается и нечто иное, а именно стремление не просто легализовать, но легитимировать свое право на свою интимную жизнь и, извините за выражение, вытолкать

взашей власть из этой сферы. Бегло просмотрим рубрики «Знакомства», «Он ищет ее», «Она ищет его» и даже «Разное» в газетах бесплатных объявлений. «Коммерсант познакомится с одинокой москвичкой, сексуальные фантазии которой намного богаче опыта...» «Девушка 19 лет, красивая блондинка с нежной кожей, хотела бы обрести счастье и покой в отношениях с ласковой и верной подругой, возможно, бисексуальной...» «Он и Она, не состоящие в браке, ждут и ищут Ее, до 25 лет, стройную, симпатичную, бисексуальную, для длительной и нежной дружбы...» И даже: «Пожилой мужчина подарит девушке часы, колготки за что-либо приятное...» И так далее.

Что это означает в контексте наших размышлений? Очевидно, прежде всего то, что это — одна из форм реабилитации, причем реабилитации публичной, права индивида на частную, интимную, сексуальную жизнь, причем права на весь возможный спектр ее проявлений.

Причем качество публичности не менее, а, быть может, более важно, чем сам факт реабилитации: именно оно придает процессу символический и, следовательно, в какой-то степени необратимый характер. Подобно тому как, по М.Фуко, тело казненного, выставленное напоказ, есть эмблема власти суверена и именно этот акт публичной демонстрации властью самой себя делает полной, исчерпывающей легитимность казни, так и цитированные мною (и многие аналогичные) пассажи из известного рода московских газет означают стремление, возможно, не всегда осознанное, осуществить некий ритуал (назовем его, например, авто-десублимацией или само-десублимацией — это громоздко, но точно). Ибо придать неким интимным проявлениям качество публичности — значит легитимировать их, узаконить в общественном мнении.

Факт публикации текста типа «ищу бисексуальную подругу» как бы утверждает право индивида на *не-под-властную* (ни в ценностном, ни в нормативном, ни в юридическом плане) интимность и становится, если Вам покажется приемлемым это сравнение, ритуалом, символическим аналогом и одновременно антиподом публичной казни (или, если сравнение покажется недостаточно впечатляющим, — публичной «комсомольской свадьбы»).

Причем занятно, что и эта система легитимности, подобно тоталитарной системе запрета, работает (чисто технологически) практически в автоматическом режиме, расставляя объявления о знакомствах в режиме «аутосортинг» текст-редактора Word 5.0 и, соответственно, не вникая в их содержание.

Легитимация своего права на сексуальную жизнь в тех же (или почти в тех же) пределах, в каких это практикуется в цивилизованных государствах, — это, согласитесь, великое достижение посттоталитарного антисублимационного «драйва».

Но поскольку речь идет о постсоветском феномене, в нем не мог не отразиться и тот человек, который десятилетиями формировался системой и которого наиболее безжалостные публицисты нашей эпохи называют имеющим двойной смысл (почти как «Битлз») словом: «совок». Очевидно, что и в реабилитации сексуальности в посттоталитарной (и возможно, предавторитарной) России должен быть какой-то привкус «совковости».

Приведу еще несколько примеров бесплатных объявлений «раскрепостившегося» постсоветского человека, потом попытаюсь их прокомментировать (извините; последнее слово, конечно, было никак не возможно в столь милых моему сердцу письмах Тургенева к Полине Виардо).

Итак:

«Обладательницу большого бюста, без детей, со стройными ногами ищет москвич с отдельной квартирой...»

«Бизнесмен познакомится с обладательницей пышного бюста. При наличии других необходимых данных примет на работу в качестве секретаря и помощника...»

«Хочу найти женщину с пышными формами...»

«Сгораю от желания познакомиться с невероятно полной женщиной... Фото (желательно в полный рост) обязательно...»

А вот еще: «Молодой, но некрасивый юноша познакомится с женщиной 30—32 лет с пышным бюстом для встреч...» М-мм... «Бюстом для встреч» — это, согласитесь, с точки зрения высокой, пусть даже эротизированной стилистики, оставляет желать много лучшего... но, как известно, «мы все любим хорошего русского языка».

Еще один, не лишенный таланта, пример: «"Большое видится на расстоянии..." Это не относится к серьезным размерам бюсту, который лучше видится вблизи...» Неплохо, в общем, сказано, хотя Вы, наверное, найдете здесь привкус той пошлятинки, к которой Вы всегда относились со столь отчетливой, временами почти болезненной нетерпимостью...

И наконец, последнее:

«Неужели в трех крупнейших городах России (имеются в виду Москва, Петербург, Н.Новгород. — С.К.) нет той, о которой я мечтаю? Ищу женщину огромных размеров, невероятно крупную, чрезвычайно полную, рост не меньше 176 см, с необъятным бюстом и необхватной попой (извините ради Бога, Н., но так сказано в тексте объявления и напечатано в газете. — С.К.). Возраст значения не имеет, национальность, раса — любая, возможно — иностранка любого под-

данства. Моя мечта, откликнись, если ты есть! Кем бы ты ни была, где бы ты ни жила, я примчусь к тебе, только позови. Очень жду письмо и фото. Я русский. Н.Новгород <...> а/я <...>»

Кто-то, возможно, скажет: о вкусах не спорят, и будет, безусловно, прав. Но каждый феномен бытия — многослоен, и лишь самый очевидный путь его понимания и интерпретации лежит на поверхности, в то время как для более полного, если хотите, стереоскопического его видения необходимо взглянуть в глубь его, отринув самое очевидное и как бы бесспорное.

Поэтому давайте попытаемся поразмышлять, тем более что не мы первые идем по этой стезе. В частности, существует мнение (его, кстати, придерживается знакомый Вам мой друг и однокашник, ныне кандидат археологических наук Мухин), что симпатии наших современников к сильно выступающим дамским формам имеют смысл прежде всего метафизический, культовый, представляя собой некий, засевающий в подкорке, рудимент матриархата. Вспомним, например, женские глиняные фигурки, найденные при раскопках древних городищ и курганов: все признаки пола гипертрофированы здесь самым откровенным образом. Эта точка зрения, кстати, предполагает, что пристрастие к пышным формам не является специфически российским феноменом. В конце концов, разве эта слабость не есть та питательная почва, на которой взошли и завоевали экран многие западные секс-бомбы, от Мэрилин Монро до Софи Лорен?

Однако противоположная точка зрения — пристрастие к крупным формам является неотъемлемой частью русского национального менталитета — также не беспочвенна.

За рубежом, в какой-нибудь Франции, где по подиуму, покачиваясь от сквозняка, прохаживаются тошенькие, хотя и вполне миловидные манекенщицы

и где рядовая, «средняя» француженка боится съесть лишнюю ложку лапши, люди приходят в ужас от того, что в России эталоном женской фигуры считаются формы кормящей матери.

Действительно, на Западе секс-звездой № 1 признана Мадонна. Но, как я мог заметить, на российско-го мужика она действует слабовато, примерно так же, как сухое столовое вино (которое он, впрочем, не употребляет). Я хорошо помню курьезный эпизодик, еще времен начала горбачевской перестройки и «раннего» «Взгляда», когда народные депутаты первого, так сказать, ряда, из числа тех, которые постоянно радовали нас своим появлением на экране (сейчас не возьму грех на душу и не буду вспоминать, кто персонально), обсуждали в студии «Взгляда» что-то насущное, наболевшее... Скажем, выходить ли радикальным реформаторам из КПСС немедленно или, по тактическим соображениям, погодить; отменять ли статью 6 брежневской Конституции о «руководящей роли» сейчас же, на ближайшем съезде (быть может, конференции, сессии Верховного Совета), или время еще терпит? Что-то в этом роде. Тогда, как Вы помните, это обсуждали повсюду, от интеллигентской Москвы до, скажем, индустриального, затянутого серым смогом Запорожья или Кемерова. И тут для разрядки подуставшей к ночи публики был подпущен или, как модно было тогда говорить, «подброшен» видеоклип: небезызвестная Сабрина, в бикини, где-то у воды, и что-то поет... Оператор оказался профессионалом высокого класса и не убрал камеру с лиц облеченных доверием народа депутатов и молодой (тогда) команды ведущих; режиссер также сориентировался мгновенно: он просто не мог не выдать эти лица в эфир. Господи, *что* это были за лица! Глазки заблестели у всех, независимо от политических пристрастий, и у депутатов, и у ведущих; умиление, чувство глубокого сопережива-

ния, разлитое во всех членах блаженство, наконец, некое, присущее российскому мужичку, «оторвавшемуся» от «своей» и вышедшему на свободную охоту, чуть сальное выражение... Как, как они на нее смотрели!.. Бедная, бедная Мадонна! Если бы она только могла это видеть! Как поколебалась бы ее уверенность в собственной сексуальной неотразимости, когда весьма незаурядных размеров бюст (на этом, почти научном определении я настаиваю) ее итальянской подруги и, можно сказать, землячки, на глазах сразу как-то подобревших российских теледискутантов, раскачивался во всех возможных плоскостях и направлениях, повинувась ритмам какой-то удалой дископробной мелодии!.. (Надеюсь, Мадонна и телекомпания «Взгляд» простят мне этот небольшой фрагмент...)

Тем более, сам я полагаю, что наиболее глубокие истоки этой неизбывной тяги к крупным женским формам мы обнаружим, анализируя структуры власти, существовавшие сначала на территории бывшей Московской Руси, потом бывшей Российской империи, а затем уже бывшего Советского Союза.

Власть на всем этом гигантском пространстве была единственным активным началом, а человек — лишь объектом, пылинкой, попавшей в силовое поле властных технологий.

Более того, на протяжении десятилетий он был лишен не только возможности как-то влиять на власть и свободно, вне давления извне, строить свою частную, интимную жизнь, но и собственности.

Кстати, мысль о том, что в обладании женщиной *одновременно* реализуется стремление мужчины к власти и к собственности, отнюдь не экзотична и не нова. Достаточно вспомнить великого философа Фридриха Ницше: «...Человек, обладающий как умственной глубиной, так и глубиной вожелений, а также и той глубиной благоволения, которая способна

на строгость и жестокость и с легкостью бывает смешиваема с ними, может думать о женщине всегда только по-восточному: он должен видеть в женщине предмет обладания, собственность, которую можно запирать, нечто предназначенное для служения и совершенствующееся в этой сфере...» (Ф.Ницше, «По ту сторону добра и зла»). Конечно, Вы можете не согласиться с Ницше, и, скорее всего, с ним не согласитесь, как не соглашались с ним тысячи женщин до Вас и, несомненно, будут это делать и впредь (если только женщины не последуют вдруг совету Ницше и не отринут книгу, не совершат того, что для немецкого философа являлось, по сути, символом принесения в жертву, конечно же, женщиной, своих наиболее женственных инстинктов).

Однако экзотична и обусловлена конкретным постсоветским историческим и социокультурным контекстом та форма, в которой индивид мужского пола стремится манифестировать как глубину и неисчерпаемость своих вожелений, так и свое возрождение как собственника (и форма эта, скорее всего, исключает упомянутую Ницше «умственную глубину»). Именно в этом, курьезном для европейца тяготении к крупным формам и «необхватным» объемам, в числе которых на первом месте располагается «серьезных (незаурядных, впечатляющих) размеров бюст», реализуется в превращенном, мистифицированном, «совковом» виде неудовлетворенное стремление быть собственником и интуитивное ощущение, что собственность есть власть (формула, которая, конечно, в столь примитивном виде «не работает»). Размеры бюста и всего прочего — это как бы мера «владеемой», причем, как предполагается, единолично (а не коллективно), собственности, шаг к преодолению собственных сублимационных комплексов, демонстративное освобождение от чувства вины, которое

власть целенаправленно прививала всем, кто смел нарушить ее сексуальные табу. Иными словами — и это, конечно, одновременно и грустно и смешно, — в зависимости от завоеванных собственной либидозной энергией объемов индивид вырастает в своих глазах и утверждает себя и как субъект и как личность.

Кстати, удивительная на первый взгляд приверженность некоторых наших (именно наших, *постсоветских*) мужчин к миниатюрности, к романтическому облику Дюймовочки, способной с ног до головы одеться в магазине «Детский мир», имеет отчасти (но только отчасти) сходные корни: здесь проявляется аскетическая инерция смирившегося с собственным без-властием и не-собственничеством индивида. Именно потому, как мне кажется, не стоит отчаиваться и женщинам, не имеющим пресловутых пышных форм и сверхприметных объемов: в находящемся на изломе своей истории обществе не может быть единых стандартов вообще, нормативной, идеальной, всех приводящей в восхищение конституции (извините за невольный каламбур — речь, конечно, идет о женской конституции) в частности.

Высказанная мною точка зрения, сознаю, дискуссионна, и я был бы только рад, если бы кто-то, углубившись в проблему, высказал более убедительную и не противоречащую при этом строгой научной логике гипотезу (и, добавлю при этом, гипотезу, способную заинтересовать Вас).

И наверное, последнее. Не жалейте о московских незабвенных днях и неповторимой столичной атмосфере. Сегодня в Москве душно и тошно, и трудно дышать от подлости, от зловонных испарений, которыми пропитано дыхание власти, и невозможно скрыться от стекающей грязной пеной с экранов, трибун и газетных страниц официозной лжи. Глава администрации вашей Калужской области, с перепугу

запретивший директору местного ликеро-водочного завода выпускать водку «Жириновский» (как о том писала одна из столичных газет), — всего лишь маленький человек на маленьком месте, по мере своих скудных сил и понимания копирующий, подобно ребенку, сложные и непонятные игры взрослых.

А взрослые игры в этой стране всегда были мерзкими и кровавыми. Так что я желаю Вам оставаться в тихой Калуге возможно дольше, не смотреть телевизор, и черт с ними, институтом, дипломом, театрами и выставками, да даже и с друзьями, хотя не сомневайтесь, Бога ради, что прогулка с Вами по весеннему, едва подернутому зеленым свежей листвы парку где-нибудь на Ленинских горах была бы осуществлением одного из самых заветных моих желаний. Но, как писал в свое время Чаадаев, «многие из чтимых мною отошли в лучший мир, другие не живут более в Москве. Грустна утрата неставших, грустна и разлука с живыми, но тем отраднее дружеское приветствие, посетившее нас издалека».

Будьте здоровы и счастливы.

Ваш <...>

Письмо третье

Деррида и Солженицын. Деконструкция путешествия

Непосредственным поводом для этих заметок послужила книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия», вышедшая в середине 90-х годов в международной философской серии «Ad Marginem» — «Философия по краям»¹.

Повод — в прошлом, но те аллюзии и ассоциации, которые родились когда-то при знакомстве с московскими впечатлениями одного из самых известных французских интеллектуалов, не канули в Лету, и, более того, они парадоксальным образом обособились от фигуры Деррида и подпитываются впечатлениями (или впечатлениями от впечатлений) других путешественников, заново (или повторно) открывающих для себя Россию. Ибо если для европейца путешествие в Россию еще со времен маркиза де Кюстина навсегда остается одним из самых сильных жизненных впечатлений, то для русского, возвратившегося в Россию, это уже событие не из ряда *впечатлений* — это поступок, в котором может быть заключен смысл так быстро проходящей жизни...

Наверное, нет необходимости представлять Жака Деррида, одного из известнейших современных философов; но если бы такая необходимость возникла, то это, скорее всего, был бы, говоря словами самого Деррида, «опыт невозможного», ибо фигура этого философа неотделима от его текстов, а тексты эти амбивалентны и непрозрачны, содержат больше вопросов, чем ответов, больше скобок и многоточий, чем уверенно расставленных точек; опять-таки используя

собственное выражение Деррида, можно сказать, что они окутаны полумраком...

Осторожность как фундамент философии

Мы привыкли к тому, что иностранец, побывавший в России-СССР-России, описывает нечто увиденное и услышанное, более или менее талантливо, более или менее подробно, не забывая нас, здешних аборигенов, и не избегая каких-то выводов, да хоть в духе воландовского «люди как люди».

Размышления Деррида — скорее о возможностях рассказа, о жанре, который он, используя название известной книги Андре Жида, именует «возвращение из СССР» (1990 год, когда состоялось путешествие Деррида, — это еще СССР). В контексте этого жанра СССР — не географическое понятие: это место некоего эпохального геополитического события, центр мирового катаклизма, Революции.

Вспомним, как писал об этом один из первооткрывателей жанра, французский писатель Андре Жид:

«Кто может определить, чем СССР был для нас? Не только избранной страной — примером, руководством к действию. Все, о чем мы мечтали, к чему стремились наши желания и чему мы готовы были отдать силы, — все было там. Это была земля, где утопия становилась реальностью. Громадные свершения позволяли надеяться на новые, еще более грандиозные. Самое трудное, казалось, было уже позади, и мы со счастливым сердцем поверили в неизведанные пути, выбранные им во имя страдающего человечества»².

А.Жид был западным интеллектуалом, для которого СССР представлялся землей обетованной, надеждой человечества и для которого визит в нашу страну

стал крушением надежд и поводом для жесточайших разочарований.

Деррида безмерно далек от революционного сентиментализма в любых его формах, ему не грозят разочарования, поскольку он не очарован; кажется, он вообще ощущает себя вне политики. Тем не менее философ следует канонам жанра, хотя и убежден, что он, этот жанр, станет невозможным после окончания той эпохи борьбы и надежд, предвидений и дискуссий, повод которым дала Революция. И тогда жанровая традиция, представленная именами французских интеллектуалов Р.Этьембля, А.Жида, В.Беньямина, побывавших в СССР в 1926—1937 годах и оставивших тексты своих «возвращений», пресечется...

Но парадокс книги заключается в том, что наряду с Жаком Деррида в ней присутствует его тень, его двойник, его *alter ego* — московский философ Михаил Рыклин, в течение года работавший в Париже и вернувшийся в 1992 году — но не из Москвы, как Деррида, а в Москву. Он не полемизирует с Деррида в том смысле, какой мы привыкли вкладывать в понятие «полемика», но он следует за ним, анализирует те же тексты, проверяет своим опытом и интеллектом его мыслительные ходы, он дышит в затылок своему недавнему мэтру (в парижской Высшей школе социальных наук Рыклин работал под руководством Деррида)...

Я попытаюсь вычленить из интеллектуального многообразия книги лишь один сюжет, который, как мне кажется, выходит за рамки профессиональной философии и имеет универсальное значение.

М.Рыклин деликатно назвал текст Ж.Деррида о пребывании в Москве «водяными знаками путешествия». Но отчего философские тексты приходится рассматривать на свет? Отчего столь скромны задачи и столь акварельно размыты выводы?

Деррида, как он сам признает, пытался избежать риска, которому подвержен любой рассказ о путешествии: риска избирательности, когда рассказчик как бы отфильтровывает, просеивает значимые детали и тем самым (по Деррида) уже осуществляет цензуру; риска *сверхинтерпретации*, когда порядок *post factum* привносится туда, где его первоначально не было; наконец, риска, связанного с погружением в специфическую и, как правило, очень «узкую» социокультурную среду, замыкающую наблюдателя в «зеркальный круг сообщничества». Французский философ категорически не желает оказаться в ситуации человека, который рассказывает «собственную маленькую историю», не сознавая, что могучий толчок, который сотрясает в настоящее время мировую историю (симптомом чего явилась перестройка и все, что за ней последовало), разрушает саму возможность появления так называемых «возвращений из СССР». Столь же малопривлекательной кажется ему возможность стать автором интимного, пусть и *московского* дневника, уникальность которого, если она вообще наличествует, не стоит в сущностном отношении к мировой политической истории.

«После десятидневного путешествия (в Москву. — С.К.), — пишет Деррида, — я спрашиваю себя, могу ли я сказать что-то такое, что заслуживало бы прочтения и постижения, что выдерживало бы сравнение с великим историческим событием, со страстью всей жизни и, более того, с их соединением воедино»³.

(Здесь Деррида, очевидно, имеет в виду Вальтера Беньямина, для которого постижение революции было соединено с историей его трагической любви к Асе Лацис, жившей в СССР.)

Если бы я взялся писать о моей поездке, включает эту линию размышлений Деррида, я бы постарался учесть опыт предшественников и тем самым обойти,

перечеркнуть критерии неизбежной избирательности, я бы оставил все то, свидетелем чего мог быть только я и никто другой. Далее: когда замысливают что-то написать или сказать, всегда лучше продвинуться как можно дальше в историческом познании и формализации уже имеющихся выполненных и законченных программ.

«Это — бесконечный труд, но сегодня все же стоит знать историю и формализовать матричную логику рассказов о путешествиях типа “возвращения из Москвы” после 1917 года в том виде, в каком они стали возможны и осуществились».

И последнее, что оставил бы Ж.Деррида в тексте своего «возвращения», — это то, что связано с «личными воспоминаниями»; общие же темы — отношение к Западу, перестройка и гласность, национализм, женский вопрос и «феминизм» и т. п. — безоговорочно исключаются. Иными словами, патетика, эмоциональность, выборочность восприятия приносятся в жертву той самой осторожности, которую М.Рыклин не без основания назвал фундаментом философии Ж.Деррида.

Пророк в своем отечестве

Я никогда не предполагал, что однажды вознамерюсь написать хоть полслова, даже по касательной связанные с Жаком Деррида... Философия Деррида казалась мне бесконечно далекой, чуждой и не задевала во мне никаких личностных струн (наверное, типичное, хотя не вполне корректное суждение о философии, привычное в *этой* стране и, возможно, странно звучащее для *цивилизованного мира*). Мне всегда казалось, что философские тексты Деррида созданы для людей, которые ощущают себя ядром или, во всяком случае, частью философской элиты (к которой я ни в

коей мере себя не отношу). Наконец, московские впечатления Деррида первоначально не затронули меня совершенно — они *напомнили* мне концерт великого, возможно, музыканта, который предпочитает касаться смычком струн (в том числе и струн, прикосновение к которым много значит для *человека России*), не касаться, дабы не породить звуки, может быть, и не фальшивые, но доступные любому другому оркестранту, даже если он знает, что вульгарную свою общедоступностью ноту услышит (и содрогнется только он один... Но вот я все-таки за письменным столом... и тому есть веская причина, заставившая меня чуть по-иному взглянуть на попытки Деррида осуществить «деконструкцию» собственного путешествия в Москву. И причина эта — долгожданное возвращение на родину Александра Солженицына.

Событийная канва «путешествия из Владивостока в Москву» хорошо известна: публичные выступления по пути следования писателя в столицу вплетали ткань солженицынского «возвращения в...» все новые и новые тексты; неизбежные пробелы и лакуны бы отчасти заполнены московскими теле- и иными интервью. Более того, если принять точку зрения Деррида о существовании доречевых, психологических текстов, то и они слой за слоем ложились в историю. События — возвращения отторгнутого некогда прощайка в свое отечество.

Максимализм Солженицына известен: принцип «жить не по лжи» — это лишь самое скромное, самое элементарное, что обязан делать человек, чтобы считать себя человеком совестливым и порядочным. Вот в чем вопрос: достаточно ли *не-лжи* для того, чтобы овладеть истиной? Достаточно ли искренности, порядочности, боли за людей для того, чтобы постигнуть реальность, одновременно жуткую и курьезную, агрессивную и дряхлую, реальность уходящую и у

как бы понятую и реальность нарождающуюся, непонятную и непредсказуемую? Достаточно ли ощущения Сизифа, убежденного, что он вкатывает на вершину самый последний камень, для того, чтобы этот камень действительно оказался последним?

Мне очень нравится выражение Вальтера Беньямина «промывание золотого песка власти»; только мне хотелось бы понимать его не совсем так, как сам Беньямин. Для него *промывание золотого песка власти* означало сверхнасыщенную событиями борьбу за власть политическую историю постреволюционного советского общества. Для меня же «промывальщиком песка» выступает прежде всего исследователь, кропотливой работой позволяющий нам увидеть какие-то глубоко скрытые нервы, механизмы, технологии власти, все то, что обычно заслоняется неким чисто политическим дискурсом.

Явление Солженицына в России вызвало многообразные и небезынтересные реакции; но, к сожалению, событие это также было сверх всякой меры политизировано, и подлинное отношение к фигуре писателя тех или иных людей (групп, корпораций, партий) осталось до поры скрытым — ради цели, возможно, изначально иллюзорной: заполучить этого человека с мировым именем к себе в союзники или, на худой конец, в «сочувствующие».

Мало кто мог позволить себе откровенно некомпментарные суждения в адрес Александра Исаевича, причем суждения открытые, не на кухне, не на плэнэре, а в прессе, на радио, на телевидении. Одно из них мне запомнилось: молодой предприниматель на вопрос телеведущего — как он относится к Солженицыну, ответил примерно так: «Он не был здесь с 1974 года, и вот он приехал и говорит: а у вас везде грязь... А Казахстан надо оставить... А Таджикистан

надо отдать...» И — пауза: сказано уже достаточно, если не более того...

У меня эта тирада не вызвала праведного гнева, и вовсе не потому, что я тоже считаю, что великий писатель не слишком деликатно обращается с географической картой. Дело в том, что событие возвращения, по всей видимости, и не могло произойти иначе, чем оно произошло. И не только потому, что Солженицын не меняется и остается человеком, не способным рассказывать «собственную маленькую историю». Деррида еще в 1990 году предсказал, что эпоха, когда возможны были экзерсисы в жанре «возвращения из СССР», догорает. Но смею предположить, что в таком случае приходит конец и жанру «возвращений в СССР/Россию». Точнее, жанр продолжает свою жизнь за рамками литературы и философии, в виде *перформанса*. И хотя у Ярославского вокзала не было, кажется, ни броневика, ни трактора, ни танка, событие возвращения обрело столь необоримую визуальность, что едва ли могло быть преобразовано в соответствующий канонам жанра «возвращений» текст.

Опыт сравнительной хронологии

Возвращение Солженицына породило тысячу вопросов, и первый из самых первых — в какую страну *он* возвратился? В СССР 1974 года, откуда он был подло и трусливо изгнан? В «Россию, которую мы потеряли», некий коллаж 1913 и 1994 годов? В год 1994-й? Рискну предположить, что Солженицын возвратился в Россию 1989—1990 годов, эпоху эйфорических планов и проектов, митингов и политических карнавалов, великих надежд и великих заблуждений, то есть в ту эпоху, которую мы — живущие здесь — пережили, которой переболели и которую, с большими или меньшими сожалениями, оставили в прошлом.

И общие рассуждения о том, что нынешние демократы — совсем не демократы, и детальныe планы того, как, например, должны работать землеустроительные комиссии и как, по справедливости и здравому смыслу, должен функционировать механизм получения и продажи земли, излагаемые человеком, болеющим за страну, честным, равнодушным, глубоко убежденным в своей правоте, то есть в благотворности и осуществимости своих планов, производили на меня (не буду говорить о других) весьма двойственное впечатление.

Конечно, поэт в России — больше, чем поэт, писатель — больше, чем писатель, но, господи, как это грустно, когда творцы ценностей духовных на твоих глазах становятся дюжинными политиками и моралистами! Увы, но писатель перестает быть собой, как только становится *ангажированным*, — это, видимо, одна из самых скверных ловушек власти. Это было верно в отношении Льва и Алексея Толстого, Шолохова, Белова, Евтушенко; боюсь, это верно и в отношении Солженицына.

Достоевский как-то описал забавный случай: в вагоне поезда, следующего в Берлин, с одним из пассажиров, немцем, человеком «весьма почтенной и богатой наружности», вдруг сделалась рвота, и его рвало до самого Берлина (в окно, разумеется, деликатно замечает Достоевский). Все пассажиры, ехавшие в вагоне, попытались облегчить участь несчастного, «и каждый, — пишет Достоевский, — ему что-нибудь советовал — один выпить пива побольше, и он на первой станции вскочил и выпил — не помогло. Я посоветовал коньяку. — “Коньяку, я и сам это думал!” Вскочил на следующей станции и выпил. Советы доходили до того, что один посоветовал съесть марципанный пряник... и он съел пряник...» Наконец, один немец посоветовал шампанского, но уже подъезжали к

Берлину, и герой этой истории сказал, что как только войдет в Берлине в отель, то непременно спросит шампанского...⁴

Этот кусочек примечателен — и не только тем, что это «свидетельство того, свидетелем чего мог быть только я и никто другой», и не потому даже, что писатель Достоевский, взявшись не за свое дело, *стушевался*. Это потрясающая метафора реформирования России: как нам ее спасти, как вернуть ту, которую потеряли, как обустроить ту, что сохранили... следуя советам людей, случайно оказавшихся с нами в одном вагоне и дающих советы о проблемах, о которых имеют представление весьма размытое... И в этом вагоне, увы, большинство известных наших писателей, как бывших «апрелевцев», так и «почвенников», «патриотов». В этом вагоне — Василий Леонтьев, лауреат Нобелевской премии, который с телеэкрана рассказывал нам, тупоголовым недоучкам, что цены в рыночной экономике формируются в зависимости от соотношения спроса и предложения; и наш бывший соотечественник Александр Янов, с его идеей откопать медную трубу, будто бы зарытую между Москвой и Ярославлем, и продать, и тем самым без западных кредитов решить проблемы структурной перестройки экономики... И равнодушные к «Спартаку» авторы проекта «500 дней»... Воистину, стакан (в России — стакан!) шампанского был бы, пожалуй, самым безобидным из рецептов обустройства. Ибо проекты в этой стране имеют двоякую судьбу: самые жуткие — сбываются, самые благостные — тоже сбываются, но с точностью «до наоборот». Ведь и Ульянов-Ленин, профессиональный юрист и экономист-самоучка, вернувшийся на Родину в plombированном вагоне, знал, «как нам обустроить...». И ведь были уже написаны «Письма из далека» и сложились, под стук колес, «Апрельские тезисы»...

Возможно, это утверждение покажется кому-то слишком обязывающим, но мне представляется, что подобно тому, как Ленин в апреле 1917-го вернулся не в Россию — он вернулся в текст своих «Писем из далека»; подобно тому, как путешествие Фридриха Ницше по Южной Италии было путешествием внутренним, лишь совершаемым посредством внешнего (мысль принадлежит Валерию Подороге⁵), так и Жак Деррида посетил не СССР — он, совершив некое неизбежное перемещение в пространстве, совместился со своим будущим текстом о «возвращении возвращений» (ритуал, без которого его текст не мог бы занять достойного места среди лучших образцов жанра). Наконец, Александр Исаевич Солженицын вернулся не в реальную Россию 1994 года: он вернулся в свой полузабытый уже в России текст «Как нам обустроить Россию. Посильные соображения»⁶.

Погружение в собственный текст бесполезно для политика, ведущего борьбу за власть; оно, быть может, естественно для философа, ведь это одна из форм его существования; оно допустимо для писателя, поскольку он остается писателем и работает со словом; но подобный акт небезопасен для человека, волею своей нелегкой, жестокой, полной несправедливостей и превратностей судьбы оказавшегося крупнейшей фигурой в гигантской бурлящей стране.

Философ Михаил Рыклин написал в предисловии к книге «Деррида в Москве»:

«Наши проблемы отстоят, удалены от нас на такое же расстояние, как и от других. Когда я, давний москвич, параллельно тексту Деррида, начинал свой текст о Москве, я еще не прочувствовал эту равноотдаленность собственного до конца; мне казалось, что у меня есть подписанный “мандат”, выданный особо, специально, я наивно рассчитывал на эпистемологическое преимущество. Отрезвляющий урок параллельного письма

состоял в том, что такой привилегии нет, дистанция невозмутима и одинакова для всех, что привилегии внутреннего наблюдателя так же нет, как и привилегии внешнего... а обилие воздействующих причин не может быть условием понимания "самой вещи"⁷.

Я не уверен в универсальности и непогрешимости этого суждения; но применительно к двум полюсам — подчеркнуто внешнему взгляду Жака Деррида с присутствующим ему «нарративным минимализмом» (М.Рыклин) и «прожективным максимализмом» (да простится мне этот термин) А.И.Солженицына, не допускающего ни на секунду, что принадлежность к России, прерванная в ее естественных, органичных формах на два десятилетия, может лишить его привилегии «внутреннего наблюдателя», — это умозаключение как будто работает. Но когда мы начинаем ощущать расстояние как понятие не только географическое, но и хронологическое, соотнесенное с дискретным течением человеческой жизни... Вот тогда и оказывается, что нам живущим-здесь, пережившим все всплески надежд и горечь всех разочарований *дома*, по крайней мере легче определить ту глубину, на которую способна проникнуть мысль, трактующая о будущем России, и осознать пределы новых планов, теорий, рефлексий и прожектов. Потому что мы эту жизнь прожили здесь и живем в России сейчас, в 90-х.

Это не значит, что мы должны «сбросить с корабля истории» «нарративный минимализм» Жака Деррида или иронизировать над немисливо детальными проектами, выношенными в далеком Вермонте. Но вряд ли стоит нам, избрав парижского мэтра своим гидом, на ощупь, миллиметр за миллиметром, знакомиться с собственной страной или, собрав крохи энтузиазма, сохранившиеся со времен карнавальная борьбы с КПСС и несколько эйфорической демокра-

тизации, уверовать в единственно возможные и теперь уж точно последние рецепты преобразований.

Хотелось бы верить в то, что мы, *мы*, живущие в этой стране сейчас, не в самое лучшее для нее время, далеки от восприятия России как логической задачи, повода для интеллектуальных интерпретаций и текстуального анатомирования (что порой свойственно западным интеллектуалам) и тем более что мы оставили далеко-далеко в прошлом эйфорию самых детальных и разумных прожектов *об-*устройства и *пере-*устройства, каким бы матерым человечеством и каким бы могучим мозгом они, эти планы, ни были выношены.

Но вспомним еще раз Жака Деррида: осторожность совсем не чужда философии и — сомкнем уста, промолчим. Ибо никто не знает, что ожидает нас впереди, и, по большому историческому счету, никто не знает, как на это «впереди» повлиять...

¹ Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия. М., 1993.

² Жид А. Возвращение из СССР. — В кн.: Два взгляда из-за рубежа. М., 1990, с. 64

³ Жак Деррида в Москве, с. 18.

⁴ См.: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч., т. XXIX, кн. 2. Л., 1986, с. 91.

⁵ См.: Подорога В.А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX—XX вв. М., 1993, с. 151.

⁶ Первая публикация: «Комсомольская правда» и «Литературная газета», 18 сентября 1990 г.

⁷ Жак Деррида в Москве, с. 10.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО г-ну ЖИРИНОВСКОМУ

*Все это не повлияет на его президентство.
Начальник охраны г-на Жириновского —
корреспонденту журнала «Плейбой»*

Психоанализ г-на Жириновского — дело непростое по многим причинам. Прежде всего потому, что, кажется, до сих пор лишь очень немногие обращались к этому сюжету (что странно, поскольку поведение г-на Жириновского буквально провоцирует подобные изыскания). Кроме того, чрезвычайно сложно избежать иронической и даже чуть ернической интонации, в которой сам собой пишется любой текст, касающийся г-на Жириновского; я надеюсь, что читатель будет снисходителен и простит мне отсутствие абсолютной и удручающей серьезности.

Возьмем в качестве отправной точки знаменитое интервью това... то есть господина Жириновского журналу «Плейбой».

Есть вещи преходящие, конъюнктурные, и есть вещи эпохальные, вроде сочинения товарища Сталина «Вопросы языкознания», трилогии т. Брежнева Л.И. «Малая земля» — «Возрождение» — «Целина» или знаменитого письма Нины Андреевой в «Советскую Россию». Упомянутое интервью г-на Жириновского относится именно к последним, вечнозеленым творениям человеческого духа, является тем Словом, которое, единожды явив себя миру, уже одним фактом

своего явления навечно отображает самое себя на фронтоне Истории самыми золотистыми буквами...

Подобные сочинения следует читать и перечитывать; и вот я бережно разворачиваю, разглаживаю ладонями пожелтевшую от времени, истрепавшуюся от прикосновения рук многих взыскующих *Слова* и *Смысла* людей газету «Вечерняя Москва», где напечатан русский перевод вышедшего в далекой американской чужбине Текста.

На первый, поверхностный, взгляд г-н Жириновский — один из тех замечательных и самоотверженных людей, которые, радея о всеобщем благе, решились пожертвовать частью своей драгоценной сексуальной энергии, трансформировав ее в энергию иного рода, энергию созидания и обустройства Государства Российского, а также безусловного искоренения всех тех, кто это государство *разваливает*. Если мы назовем людей этого типа политическими сублимантами, это, вероятно, будет по сути правильно; однако в этом термине присутствует какая-то холодность — он не несет в себе искры той благодарности, которую, вероятно, испытывают, или способны испытывать, или, быть может, будут когда-либо испытывать народы России к такого рода политическим подвижникам.

Я полагаю, что достаточно определенно выразил свое отношение к такого рода фигурам (желающие могут еще раз перелистать первые два «московских письма», появившихся в свое время на страницах журнала «Архетип»¹ и публикуемых в этой книге). Поэтому не буду повторяться и, сделав над собой определенное усилие и обретя некоторую серьезность, попытаюсь все-таки сосредоточиться на его знаменитом интервью².

Итак, г-на Жириновского спрашивают:

«Вы до сих пор любите свою жену?»

А он достаточно откровенно отвечает:

«Хм, я что-то чувствую к ней, конечно. Но мои чувства и энергия ушли в социальные проблемы... Это плохо. Личная жизнь должна быть приоритетной».

Это ответ типичного сублимированного политика; более того, это ответ *революционера*.

Вместе с тем г-н Жириновский, в отличие, скажем, от некоторых героев А.Платонова и М.Шолохова, все же признает некоторое значение личной жизни:

«Некоторые связи между мужчинами и женщинами необходимы».

Однако, манифестируя свою сублимантность, г-н Жириновский как бы делает попытку преодолеть ее и продемонстрировать свою сексуальность. Так, он требует, чтобы журналистка из «Плейбоя» Джениффер и переводчица Маша пришли к нему “topless” — с открытой грудью. Дамы — *игнорируют*, тогда г-н Жириновский обижается и заявляет, что он беседует с ними в последний раз.

Затем он уделяет внимание двадцатилетней переводчице.

«Я чувствую, что она девственница. Она нравится мне больше, чем вы, Джениффер. Я не видел такой чистой девушки уже долго. Это тот стиль, который я люблю. Для большего контакта, для большего желания мне придется погладить ее рукой, поласкать, поцеловать ее. А затем вы, Джениффер, можете написать, что я бабник, затем вы отметите в своей статье, что все кончилось групповым сексом. Смотрите, он сексуальный маньяк!»

Г-н Жириновский говорит, девушка Маша, естественно, переводит, а Джениффер слушает и записывает... Кстати, хотя Джениффер и не двадцать лет, она также молода и красива...

«...Если бы мне было около 40, я бы уже вступил в интимную связь с вашей переводчицей. Но в моем возрасте я не делаю такого...»

Натурально, Джениффер записывает, Маша переводит.

Но некая логика лицедейства требует чего-то большего, чем слова, требует если не действий, то разговоров по поводу действий или даже имитации действия.

Тут очень кстати начинается дождь. Г-н Жириновский указывает в сторону иллюминатора и говорит:

«Когда идет дождь, хорошо заниматься любовью. Покой, тепло, не думаешь ни о чем. Такая успокоительная погода. Вы, Джениффер, хотели бы заняться любовью в такую погоду? Прямо сейчас, с нами четверыми, включая моих телохранителей?»

Джениффер, кажется, хочет не очень, тем более что она при исполнении, но у нее хватает профессионального любопытства спросить:

«Вы когда-нибудь занимались этим прежде — с четверыми?» (здесь я ощущаю некую шероховатость в переводе, ну да Бог с ней).

И г-н Жириновский, воспитанный в коллективистском советском духе, отвечает:

«Это прекрасно, когда это делается группой».

Да, г-н Жириновский проявляет некоторую настойчивость, приглашая *сделать это именно группой* и привлечь к этому мероприятию девушку Машу и своих охранников.

Он спрашивает Джениффер:

«Когда мы начнем?»

Та как будто пытается отшутиться:

«После интервью».

Но г-н Жириновский полагает целесообразным заняться этим *вместо* интервью или, возможно, параллельно с интервью, ибо

«...после интервью все будут очень усталые».

Впрочем, г-н Жириновский уже устал.

«Джениффер, достаточно! — восклицает он. — Вы изнасиловали меня. Двое молодых мужчин сидят здесь (речь идет об охранниках. — С.К.). Они не в состоянии заниматься ничем, кроме секса, ничем больше. Их головы не работают... Идет дождь, и вы видите, как это прекрасно. А я буду вместе с Машей».

Дамы не хотят. Они говорят «нет», и, хотя г-н Жириновский только что уверял их, что, когда женщина говорит «нет», это означает «да», дело не выгорает. Джениффер не в восторге от предлагаемого контакта с двумя охранниками, а Маша бестактно вмешивается в разговор взрослых и спрашивает, не хотят ли узнать и ее мнение...

Казалось бы, подобная бестактность по отношению к известнейшему политику, лидеру партии, одержавшей победу на парламентских выборах, должна вызвать резкую реакцию последнего, но г-н Жириновский снисходителен:

«Я сказал заранее, что, если вам это не понравится, я не буду упорствовать, потому что я добрый малый».

Далее *добрый малый* ведет компанию в свою личную каюту...

...Тут надо вспомнить то, что князь В.Ф.Одоевский говорил о приятной возможности разрезать повествование в кульминационной точке сюжета предисловием (и тем самым поставить читателя на колени и заставить его предисловие прочитать). Не буду цитировать Одоевского — желающие могут найти это место в «Княжне Мими».

Избранный мною жанр не оставляет возможности порезвиться с предисловием; так что заменим его небольшим отступлением.

Отступление первое **Вниз по Волге-реке**

Итак, компания удаляется в каюту, следовательно, дело происходит на пароходе.

Действительно, пароход, зафрахтованный либерально-демократической партией, плывет вниз по Волге. Как говорят соотечественники Джениффер, *down by the riverside*.

Дело происходит летом 1994 года.

Чтобы понять глобальный контекст *инсекстервью* г-на Жириновского, следует уяснить себе, что означает пароход, спускающийся вниз по Волге и имеющий на борту неких политических фигурантов.

Исторически так сложилось, что российское пространство власти вбирает в себя множество микрокосмов власти, так или иначе привязанных к «центру» и без него нежизнеспособных. Это пространство организовано *через-центр*, в виде звезды, и все скольконибудь значимые точки в этом пространстве организуют окружающее их локальное пространство аналогичным образом, также в виде звезды, становясь, таким образом, второстепенными центрами в стянутом центростремительными силами пространстве власти (об этом, кстати, уже говорилось в очерке «Дорога. Движение, пространство и время в России, Америке и СССР»).

Кстати, Ленин, с которым, как полагает г-н Жириновский, у него немало общего (очевидно, прежде всего масштаб исторических деяний), был прекрасным геополитиком-практиком; интуитивно он чувствовал, что и в Российской империи, и будущем государстве

диктатуры пролетариата внутренняя структура пространства гораздо важнее, чем «внешняя» геополитика: границы и взаимоотношения с соседями. Взять власть в Петрограде, в столице, значило для него взять власть как таковую, ибо за столицей неизбежно последует вся страна. В то же время такие вещи, как утрата затопленного черноморского флота или потеря огромных территорий в результате Брестского мира, были для него тяжким, но в принципе переживаемым ударом — и время показало, что в этом смысле он был прав.

В подобной геополитической структуре линия, соединяющая центр с любой точкой в пространстве власти, всегда должна быть прямой; однако эта прямая видоизменяется, отражая особенности естественной геополитики — расположение рек, горных хребтов, контур береговой линии и т. д.; поэтому в реальности центр и разбросанные по периферии точки соединяет ломаная линия, лишь *тяготеющая* к прямой.

Кстати, Жириновский если не отец русской демократии, то, во всяком случае, *крестный отец* российской геополитики. Вспомните, как в ходе своей блистательной предвыборной кампании 1993 года он пророчествовал, что народы, населяющие земли за Кавказским хребтом, перегрызутся, если их предоставить своей собственной судьбе, и потом придут к России к поклоном и покорнейшей просьбой присоединить их к себе назад. Пророчество это, исходившее исключительно из геополитических оснований, в значительной степени (а именно в первой части) сбылось... Что касается второй части, то и она сбылась, но в своеобразной форме: это *мы* пришли на Кавказ с покорнейшей просьбой присоединиться к нам назад...

Итак, российская геополитика была результатом наложения структуры властного пространства на естественную геополитическую карту, где есть место

морям и океанам, рекам и озерам и, наконец, границам и сопредельным государствам. И векторы естественной геополитики как бы прорезают и вносят некое разнообразие в геометрию суперцентрализованного, линейного пространства власти.

И тогда такие геополитические реальности, как горные хребты, моря или крупные реки, становятся на место силовых векторов власти, как бы замещают их.

Механизм взаимодействия центр — периферия в пространстве власти, организованном *через-центр* и в то же время прорезанном естественными геополитическими разграничителями, любопытным образом отразился, скажем, в знаменитом романе И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев».

Пароход «Скрябин», принявший на свой борт Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, движется вниз по Волге, в сторону Сталинграда и Астрахани. На борту его — тиражная комиссия, пропагандирующая идею государственного займа. Подобного рода «государственный», официальный пароход — своего рода символ, метафора власти, почти как бронепоезд предреввоенсовета Троцкого (см., кстати, известный текст Андрея Платонова). Заем — это в таком случае метафора взаимоотношений народа и власти: власть не может существовать, не возобновляя свои ресурсы за счет народа и не истощая ресурсы этого народа, ресурсы материальные, духовные, физические, экономические, природные...

Пароход, плывущий по великой реке по направлению от центра на периферию, — это образ власти, вынужденной, чтобы сохранить свое присутствие на территории, каждый раз завоевывать ее заново, заново маркировать ее; остановки парохода для проведения тиражей — как раз и есть форма такой маркировки пространства.

Ибо, как понял еще Ф.Ницше, всякая власть есть власть лишь постольку и до тех пор, пока она «больше-власть», возрастающая власть; она способна держаться в самой себе, то есть в своем существе, только превосходя и превышая самое себя, *овладевая* всякой достигнутой ступенью власти; коль скоро власть останавливается на какой-то достигнутой ею ступени, она уже становится немощью власти, деградирует, распадается...³

Повторное завоевание пространства может осуществляться властью в различных формах: насильственная каторжная колонизация, идущая волнами от центра к периферии; массовый, едва ли не стохастический террор, как при Сталине; покорение вырвавшейся из-под контроля революционно-анархической стихии железной волей власти, как было при подавлении кронштадтского восстания 1921 года; наконец, движение парохода «Скрябин» с тиражной комиссией государственного займа на борту...

Не знаю, насколько Ильф и Петров сознавали ценность и типичность описанного ими механизма действия власти, но в «Золотом теленке» они практически воспроизводят ситуацию «12 стульев»: автопробег, в котором участвует автомобиль «Антилопа-Гну», самонадеянно относимый его водителем к марке «лорен-дитрих», есть абсолютный аналог перемещения парохода «Скрябин» — та же *реконкиста* уже когда-то освоенного властного пространства.

С другой стороны, когда мы узнаем, что сообразительный миллионер Александр Иванович Корейко скрылся от великого комбинатора в северном укладочном городке на трассе Турксиба, мы, независимо от того, сознаем мы это или нет, входим в ситуацию колонизации новых территорий и обращения их в пространство власти — но эта колонизация полностью воспроизводит механизмы колонизации российского

пространства, отработанные в имперской России. Острог — городище — «укладочный городок»... Чуть позже укладочные городки сменятся лагерями, образующими «архипелаг ГУЛАГ», еще позже — произойдет возврат к модели 20-х годов: целина, Братская ГЭС, БАМ...

Несколько иная ситуация, являющаяся как бы продолжением ситуации «Скрябина» — автопробега — укладочного городка на Турксибе, отразилась в знаменитом фильме Георгия Александрова «Волга-Волга», снятом в 1938 году.

Здесь Река ведет не из центра на *украины* России, а из провинции — в столицу, в Москву.

Причем в этой ситуации даже не имеет значения, куда течет река, — движение вод как бы изменяется в зависимости от прихоти всесильного центра. Но движение по вектору с периферии к центру является не чем иным, как реакцией на импульс власти, идущий на периферию из центра. В фильме «Волга-Волга» это телеграмма: «*Вызываем [в] Москву...*» Все последующее движение — следствие этого импульса.

Заметим в скобках, что аналогичным образом функционирует пространство в другом знаменитом советском фильме, «Свинарка и пастух»: Москва, сельскохозяйственная выставка — периферия, причем раздваивающаяся, русская и кавказская, — и снова Москва, снова выставка...

Таким образом, люди на пароходе, идущем вниз по Волге, имитируют стандартные действия власти. И не столь важно, что пассажиры кают первого класса закончили не ВХУТЕМАС какой-нибудь, а Институт стран Азии и Африки, и лозунги их не прежние, оптимистические:

«Все — на тираж! Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию государственного займа»,

а, скажем:

«Россия в границах прежнего Советского Союза».

Но в любом случае ретрансляция текстов власти с некоего объекта, который движется из центра к периферии государства и олицетворяет собой власть как таковую, — столь же неизбежная черта этого пространства, как и лающие в деревнях собаки.

Таким образом, выплески либидозной энергии г-на Жириновского происходят на фоне движения вдоль явственно видимых властных векторов. Вероятно, одним из мотивов, осознанных или неосознанных, путешествия вниз по Волге либерально-демократического корабля и было стремление воспроизвести одну из траекторий власти и один из способов завоевания властью пространства — но в реальности этот корабль и капитан его политической команды оказались в состоянии лишь *имитировать* некие действия власти.

Более того, ситуация приобретает почти фарсовый характер: одновременно с пароходом г-на Жириновского вниз по Волге идет президентская яхта «Россия» — и г-на Жириновского задерживают, кажется, в Нижнем Новгороде. Это — крушение, но не выстроенного в Австрии четырехпалубного парохода «Александр Пушкин», а некоего политического корабля, вдруг оказавшегося «Антилопой-Гну»...

Нас, правда, интересуют не политические импликации данной амбициозной акции, а лежащий в ее основе механизм *идентификации*. Подобного рода механизмы были в свое время обнаружены и проанализированы Фрейдом, который рассматривал идентификацию как попытку ребенка (или слабого или инфантильного индивида) перенять силу отца, матери или некоего лидера и таким образом уменьшить чувство страха перед реальностью⁴.

Отношениям ребенка к отцу присуща, по Фрейдю, своеобразная амбивалентность; в известном смысле идентификация представляет собой обратный комплексу кастрации и в то же время дополнительный по отношению к нему механизм.

Первым *страхоубежищем* для ребенка становится мать, затем она вытесняется в этой функции более сильным отцом.

«Когда взрослеющий человек замечает, что ему суждено навсегда остаться ребенком, что он никогда не перестанет нуждаться в защите от мощных чуждых сил, он наделяет эти последние чертами отцовского образа, создает себе богов, которых боится, которых пытается склонить на свою сторону и которым тем не менее вручает себя как защитникам. Таким образом, мотив тоски по отцу идентичен потребности в защите от последствий человеческой немощи...»⁵

Иными словами,

«...беспомощность ребенка имеет продолжение в беспомощности взрослого»⁶.

Механизм идентификации, отождествления себя с неким признанным образцом, проявляется в поведении г-на Жириновского весьма ярко: демонстративное уважение к фигуре президента (при размашистой и бесшабашной оценке деятельности всех прочих политиков); имитация некоторых черт поведения президента; стремление соотнести себя с крупными историческими фигурами и обрести уверенность в отблесках их посмертной славы («существует историческая параллель между Лениным и мною»).... Что касается механизма идентификации с существующими механизмами власти, то идущий вниз по Волге пароход — далеко не единственный пример. Например, те, кто держал в руках газету «Правда Жириновского», могли убедиться, что это издание пытается калькировать

некие образы власти, в частности традиционные визуальные образы текстов власти, и даже название газеты набрано до боли знакомым и как бы восходящим к памяtnому 1912 году шрифтом.

Но невидимые технологические структуры власти, *технологии власти*, — это те же непредсказуемые и жестокие боги, перед которыми зараженный ребяческой беспомощностью индивид (и не только он) испытывает чувство страха, неполноценности, вины и которых пытается склонить на свою сторону.

Предоставлю читателю судить о том, насколько механизм идентификации себя с близкой и родной нам всем *отеческой* властью (которая отнюдь не перестала быть *отеческой* и после августа 1991 года) позволил г-ну Жириновскому и его верным матросам вжиться в ситуацию *людей-у-власти*, умиловить грозных московских *богов* — и насколько он заставил нас, *тех-кто-под-властью*, поверить в то, что подобные люди когда-нибудь могут оказаться у руля этой, некогда великой и, возможно, великой до сих пор, страны, — а также в какой мере он помог проявить фарсовую природу ситуации, присущую ей почти водевильную пародийность. Пафос и драматизм, которых ищут политические фигуранты и видимость которых они всеми доступными им средствами пытаются создать, оборачиваются *комикой*; подобную ситуацию, на примере наших первых съездов народных депутатов, в свое время очень точно проанализировал В.А.Подорога⁷.

Что же касается модели сексуального поведения, адекватной данным обстоятельствам, то здесь объект идентификации установить не так просто. Возможно даже, что таковым образцом является римский император Нерон. Так или иначе, эта модель в предлагаемых обстоятельствах неизбежно воспринимается в качестве метафоры будущих взаимоотношений власти

in potentia с обществом, которым она, эта власть, собирается овладеть...

...А наши политические пастыри между тем уже в каюте. Казалось бы, цель близка... но дамы уклоняются от объятий. Г-н Жириновский в отчаянии:

«Но если ничего не произойдет, что мне остается? Задохнуться от спермы?»

Даже это не трогает жестокое сердце американки и находящейся под ее космополитическим влиянием Маши. Более того, девушки собираются малодушно ретироваться:

«Возможно, нам следует закончить разговор завтра?»

Г-н Жириновский вспыхивает:

«Завтра мы ничего не закончим. Завтра в восемь утра в Балакове вы оставите наш корабль и возьмете карту, где найдете ухабистую дорогу — 150 километров. Через неделю вы попадете в Саратов. На вашем пути вы подвергнетесь нападению бандитов. Они изнасилуют вас. Вы попадете в Саратов с большими усилиями, без денег. Они унесут ваши кассеты с записями. Здесь бандиты везде на дорогах».

Прекрасно! «Мы в восхищении», как выражался классик. Все сделанное, конечно, следовало бы сделать. Действительно, откуда-то, из цивилизованной страны, где изобрели стриптиз и эротические журналы, в нашу дикую глушь приезжает дамочка и думает разговорами на интимные темы ввести нас в краску. Она будет нас расспрашивать, расшифровывать, а мы будем краснеть, как подростки в период полового созревания, маяться, маяться и, ежесекундно преодолевая ханжескую стыдливость, наследие лицемерного коммунистического режима, и недостаток сексуального образования, выдавливать из себя по капле сведения о своей убогой интимной жизни. Кроме того,

журнал — богатенький, а скаредная американка плывет на пароходе бесплатно, да еще вдвоем с переводчицей. Совсем как Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Все это, естественно, раздражает. Они вообще прижимистые и практические люди, эти американцы. У них лишнего доллара не выпросишь. И что же делать? Да ясно что! Напугать ее, родимую, до полусмерти, до обморока, пусть думает, что ее сейчас же, здесь же, в каюте, охранники, переводчики, охраняемые, команда славного корабля... Пусть думает, голубиная душа, что с риском для своей женственности исполняет в экстремальных условиях нелегкий журналистский долг...

Короче, пугнуть ее, чтобы неповадно было! Именно ее, полпреда западной секс-индустрии; это даже остроумно — а пугать корреспондентку «Нью-Йорк таймс» или «Экономиста» совсем даже неинтересно...

И сделано. Как сказано все у того же классика, свистнуто, и довольно прилично свистнуто.

И вот на наших глазах происходит примечательная метаморфоза: в журналистке из эротического журнала под действием мужского напора г-на Жириновского просыпается весьма осторожная и практическая, едва ли не фундаменталистская натура, воспитанная на принципах протестантской этики...

А г-н Жириновский между тем фонтанирует сексуальной энергией... Но не есть ли это роль, написанная, отрепетированная и сыгранная не лишенным способностей актером? А на деле — сублимированным политиком, лишь напялившим на себя маску неронообразного сексуального монстра? Или мы здесь сталкиваемся с некоей личностной органикой? С человеком, который ведет себя столь же непосредственно и столь же мало задумываясь над последствиями, сколь мало размышляет на отвлеченные темы растущая на

газоне трава? Или бегающие возле московских жирных помоек беспризорные собачки? Или резвящиеся в зелени острова Таити аборигены обоего пола?

Действительно, следует признать — г-н Жириновский органичен, как ребенок. Импульс немедленно порождает реакцию.

Хочется кричать — кричи.

Хочется бежать — беги, к трибуне или с трибуны, прокладывая себе дорогу массой собственного тела, а порой и локтями...

Хочется плясать — вот они, цыганки и вообще — податливые дамы для состоятельных господ...

Хочется сбросить напряжение и расслабиться — проговори что-нибудь не очень непристойное или схвати кого-нибудь за горло и обозначь сладостный процесс удушения, вообрази себя Джеком-потрошителем. Это возбуждает и поднимает тонус. Лучше иметь дело с женщиной — это особенно стимулирует (читайте маркиза де Сада).

Итак, детская непосредственность и спонтанность. Инфантилизм во всех смыслах этого роскошного слова. Абсолютная органика. Со столь поразительной органикой сталкиваешься у людей зрелых и поживших не столь уж и часто. Марлон Брандо был удивительно органичным актером; более того, он, очевидно, считал, что *настолько органичен и значителен, что ему достаточно сыграть самого себя, убежденного в том, что ему достаточно сыграть самого себя.* Но даже ему порой не хватало органики, и собственного неприукрашенного «Я» оказывалось недостаточно для большой и сложной роли (как это произошло в «Последнем танго в Париже» Б.Бертолуччи). А у г-на Жириновского этих проблем нет и, вероятно, никогда не будет.

Ребенок способен плюнуть вслед сверстнику, который (которая) его отверг (отвергла). Но плевок в

спину уходящему прекрасно получается и у г-на Жириновского:

«Я забуду вас двумя минутами после того, как вашей ноги не будет на судне...»

— говорит он сидящим с ним в каюте дамам. Но надежда умирает последней:

«...если вы не доставите мне удовольствие здесь...»

Но дамы распахивают дверь каюты и вырываются на свежий воздух. Для них путешествие окончено. Они прощаются с г-ном Жириновским. Они будут помнить его долго, очень долго, возможно, всегда.

Отступление второе

Стирание имени

Г-н Жириновский вырос в советском обществе, под присмотром довольно жесткой власти, и у него советская биография со всеми вытекающими последствиями. Хотя в каждом индивидуальном случае последствия эти различные. Говоря о биографии г-на Жириновского, следует сказать прежде всего о факте *стирания имени* и далеко идущих последствиях этой процедуры.

Было бы странно, если бы власть, не гарантируя человеку никаких прав, даже права на физическое существование, гарантировала ему сохранение имени. Ведь на протяжении столетий *стирание имени* было излюбленной технологией власти.

Еще в XVI веке Иван Грозный заставлял глав знатных боярских родов принимать постриг, и если у них не было детей мужского пола, то имя их стиралось, хотя род мог продолжаться за счет вышедших замуж дочерей. Борис Годунов, по сравнению с Грозным куда более осторожный, изощренный и гибкий политик, тем не менее, по свидетельству Карамзина,

запретил жениться князьям Мстиславскому и Василию Шуйскому.

Уже в близком к нам XIX веке, а именно в 1842 году женатым декабристам, сосланным после неудачного восстания на Сенатской площади, было предложено отправить своих детей, рожденных в Сибири, в учебные заведения России со всеми правами прежнего звания их родителей, но с одним условием: изменить их фамилии. Почти все декабристы (за исключением одного) отказались от этого предложения. Однако правительство проявило настойчивость и, после смерти некоторых отвергнувших это предложение участников событий 14 декабря, все же возвратило их детей в Россию и поместило их, с переменной фамилии, в разные учебные заведения⁸.

Таким образом, и в одной и в другой ситуации имя стиралось, а его носители продолжали существование; но существование под другим именем — это уже *другое* существование, и это понимали и Иван IV, и Николай I, понимали и те, против кого технологии стирания имени были направлены...

В российской истории многократно возникает ситуация тела без имени и/или имени без тела; какие-то исторические фигуры, существуя, не существуют, другие обретают законное право на существование, оставаясь совершенно призрачными.

Вспомним самозванчество как феномен если не чисто русский, то очень характерный для России. Кажется, Н.Эйдельман заметил, что, в силу особенностей взаимоотношений церкви и государства, в России конфликт между ними развивался не в форме ереси, а в форме самозванчества. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II, «государь император Петр III», воплотившийся в фигуре удалого казака Емельяна Пугачева, княжна Тараканова...

Напротив, некоторые весьма видные фигуры появились на свет — но как бы не существовали. Малолетний император Иван Антонович, во младенчестве попавший в Шлиссельбург и там же через многие годы окончивший свои скорбные дни, именовался в государственной переписке «известная персона». Когда в семье сосланного в Холмогоры после воцарения Елизаветы Петровны принца Антона Брауншвейгского родился ребенок (мать его умерла при родах), то из Петербурга пришел приказ: отцу предписывалось никому не сообщать о рождении сына — Екатерина не хотела, чтобы появились лишние претенденты на российский престол.

Более того — после этой попытки создать *тело не существующее* у «веселой бабушки» Екатерины II возникла мысль: а нельзя ли создать *тело, себя не сознающее*; в Холмогоры был послан секретный запрос: «знают ли молодые принцы, кто они таковы, и каким образом о себе рассуждают?» И ответ пришел неутешительный: да, знают. И пришлось отказаться от надежды вылепить тело, себя не сознающее; а сознающее себя тело, носящее имя, с которым в России можно взойти на трон, может существовать, только будучи локализованным во времени, пространстве и ограниченным в свободе передвижения и сношениях с внешним миром, то есть содержаться в заключении такого рода, которое предполагает полную изоляцию от внешнего мира, небытие, забвение.

Декабристы находились внутри формирующегося пространства Сибирь/Сахалин/ГУЛАГ; однако у них была надежда рано или поздно вырваться из этого пространства — да и само это пространство еще не закончило свое оформление.

К концу XIX века ситуация меняется; власть уже не просто отнимает имя у человека, помещенного в специфическое пространство, — она порой ставит

человека в такие условия, когда имя становится человеку не нужным.

А.П.Чехов, «Остров Сахалин». Семидесятилетний каторжный, работавший на паромной переправе через реку Дуйку, проживший на Сахалине 22 года, отказывается назвать писателю свое имя.

« — Зачем же ты теперь скрываешь свое настоящее имя? Какая надобность?

— Летось я сказывал чиновнику свое имя.

— И что же?

— Да ничего. Чиновник говорит: “Пока справки делать будем, ты помрешь. Живи и так. На что тебе?” Это правда, без ошибки... Все равно жить недолго. А все-таки, господин хороший, родные узнали бы, где я.

— Как тебя зовут?

— Мое здешнее имя Игнатъев Василий, ваше высокоблагородие.

— А настоящее?

Красивый (Чехов пишет, что это был красивый человек. — С.К.) подумал и сказал:

— Никита Трофимов. Я Скопинского уезда, Рязанской губернии»⁹.

В знаменитом рассказе Юрия Тынянова «Подпоручик Киж» из-за ошибки писаря поручик Синюхаев, значившийся сразу после умершего майора Соколова, также был написан умершим, и одновременно, на стыке слова *подпоручик* и усилительной частицы *же*, появляется новая фигура, подпоручик Киж.

Некое несуществующее в природе тело, обретя наименование, начинает существовать так, как будто оно существовало всегда; реально существующий, во плоти и крови, поручик Синюхаев, лишившись имени, как бы перестает существовать вовсе.

Ошибка поправима, но события разворачиваются в атмосфере жуткого *страха* перед властью, сознаться

в ошибке невозможно и страшно, с каждым витком сюжета все невозможнее и страшнее.

Причем *стирание имени* сопровождается *возникновением* не только нового имени, но и *новой фигуры*; человек, подвергшийся в силу тех или иных обстоятельств процедуре *стирания имени*, вынужден соответствовать новому своему наименованию. Но одновременно стирание имени — сильнейшая душевная травма: поэт Афанасий Фет вспоминает, каким потрясением было для него, четырнадцатилетнего подростка, приказание именоваться впредь не Шеншиным, а Фетом¹⁰.

Итак, власть способна отделить тело от имени.

Новое имя, в свою очередь, отделяет старое тело от его прежней человеческой сущности и порождает новую сущность, соответствующую новому имени.

Страх порождает мифические фигуры; более того, страх (или след пережитого страха) заставляет *добровольно* отказываться от имени. В стирании имени просматривается неумолимая воля власти; но есть в этом акте и момент сознательной мотивации конкретной личности. Многие и многие в этой стране меняли имя, стирали свое имя, полученное при рождении, *ускользая* от власти или *растворяя* себя в ней.

Соответственно, нерусские, воспринимаемые властью с недоверием и подозрительностью имена трансформировались в новые имена, новые для конкретного индивида — но в целом обычные и даже банальные, от Иванова до Жириновского. А носители этих последних *обычных* русских имен, Ивановы, Ведерниковы, Собакины и т. д., стновились носителями имен-символов, типа Фердинанда Лассаля, Розы Люксембург, Льва Бронштейна — или Турбины, Индустрии, Кармии, Вилена, Вилорика...

Любопытно, но аналогично и происхождение имен вождей Октябрьского переворота: вспомним

столь уважаемого г-ном Жириновским Ленина, а также Сталина, Троцкого, Зиновьева... Все они тоже когда-то ускользали от власти, сбрасывая имя, как змея сбрасывает кожу...

Но ускользнуть от власти, переместившись из пространства власти в какую-то иную реальность, невозможно; возможно лишь исчезнуть, растворившись в массе других людей.

Обретая новое, обычное, не режущее власти глаз своим написанием и слух своим звучанием имя, индивид как бы растворяется в массе и становится неотличимым от нее, словом, становится *одинаковым*.

Это только издали кажется, что Вилорик Тугоухов — это экзотика и проявления принципа разнообразия в живой природе; на самом деле он, как и тысячи других людей, в сущности, принял одно условное имя, что-то вроде Партий Пролетариатович Коммунистов-Вэкапэбов.

Такого рода новое имя означает для его носителя утрату своего «Я» и растворение в коллективном политическом теле с последующим существованием внутри этого коллективного тела. Что же касается бесталанного поручика Синюхаева, то у него нет возможности влиться в коллективное тело, и утрата имени может означать для него только гражданскую, а затем, вероятно, и физическую смерть...

Вынужденное обстоятельствами стирание имени и пережитое вследствие этого унижение неизбежно порождает комплексы — и отмеченное еще Фрейдом стремление преодолеть эти комплексы при помощи не совсем стандартной модели поведения заставляет индивида несколько назойливо демонстрировать свою *полноценность* и *незакомплексованность*. Все это отчетливо видно на примере жизни и деятельности г-на Жириновского, выступающего в качестве одного из фигурантов на российской политической сцене.

Я умышленно нигде не касаюсь политических взглядов г-на Жириновского, и не только потому, что у него нет никаких взглядов, что дает ему неограниченную свободу политического маневра; но даже если бы они, эти взгляды, и были, то все равно пришлось бы констатировать, что факт наличия этих взглядов и их характер к рассматриваемой нами теме не имеет ни малейшего отношения.

Эту оговорку следует сделать, потому что следующее событие произошло на политической сцене в прямом и переносном смысле — и тем не менее оно, как я полагаю, не несет в себе никакой политической нагрузки.

Осенью 1995 года в нашей Государственной Думе случилось нечто такое, к чему даже мы, ко всему привыкшие, и много чудного повидавшие за последние годы, не были готовы: со священника сорвали крест и пытались его же этим крестом прибить, а в случившейся вслед за этим свалке слегка придушили женщину-депутата. Чья-то крепкая мужская рука весьма сноровисто ухватила женщину за горло, неуловимым движением содрала с нее очки и едва не стянула платье...

При этом, по свидетельству очевидцев, выкрикиваемы были примечательные слова: «Бей ее, суку!», «Души ее, Коля!», «Рви ему рясу!» и т. д.

Отступление третье

«...И без всякого повода налетают драться...»

Из заявления начальнику <...> отделения милиции г. Москвы от М-ой А.Я., проживающей <...>:

«Прошу Вас принять меры к соседу по кв[артире] Г-ву Х., который 11 декабря в 8.40 принял (так в тек-

сте. — С.К.) физическую силу и хотел меня задушить, на мои замечания о несоблюдении правил социалистического общежития, которые я сказала в спокойной и вежливой форме, он стал кричать удушу и выброшу с 4-го этажа. У меня кровь горячая я все могу сделать, пусть отсидит срок, и ранее были угрозы...

11 декабря 1986 года»

Из заявления начальнику <...> отделения милиции г. Москвы от Пр-ной М.Ф., проживающей <...>:

«Я, т.е. Пр-на М.Ф., неоднократно писала Вам о том, что Мак-вы, Л. и Н., систематически хулиганят и безо всякого повода налетают драться. Повторяю, с 1978 года Мак-вы не соблюдают правила общежития. На мои замечания отвечали гадостями, обзывают нецензурной бранью и заявили, что создадут мне такие условия жизни, что я подохну, и пригрозили, что меня все равно убьют, где бы я ни была, везде меня найдут. Да, они меня найдут, так как списали все данные с моего паспорта. Помыться и покупаться не могу. Мак-ва выключает свет в ванной и запирает моего ребенка в ванной комнате. Готовлю, а Мак-ва выключает плиту или же снимает с плиты, бросает мне волосы в пищу.

Мак-вы беспричинно набрасываются драться на меня. У меня было дважды, я зафиксировала побои в травмопункте № 118 — сотрясение мозга, клали меня в больницу, но у меня маленький ребенок, я вынуждена терпеть всякие невзгоды... Я вынуждена ребенка отдать в люди, а сама кое-как. 30/XII в 20 часов Мак-вы набросились на меня драться. Мак-в Н. начал меня душить, а Мак-ва Л. била меня ногами в живот и Н. бил в живот ногами.

Я обращалась в обменное бюро, но никто к нам не едет. <...> Я одна с ребенком и кроме Вас у меня никого нет. Прошу создать мне условия в жизни и с воспитанием ребенка. Прошу изолировать меня от них или их от меня. <...> С кухни взяли мою табуретку и не от-

дают. К телефону не подзывают. Вот уже два года не получаю писем, а их пишут мне.

Прошу принять меры, или придется воспитывать моего ребенка государству.

31/ХІІ 1981 г.»

Предновогоднее советское письмо.

Без комментариев.

Но вернемся к думскому скандалу. Читатель, разумеется, помнит это удивительное событие и его действующих лиц. Да, разумеется, — там, где женщина, следует искать и г-на Жириновского.

Именно его рука змеей обвилась вокруг шеи депутата Тишковской, и именно на его до боли знакомом лице, лице Цезаря и Брута, отразилось жестокое сладострастие человека, преодолевающего действие надуманных общественных табу и стремительно обретающего свое не искаженное социальной средой, десублимированное «Я»...

Тут почему-то вспоминается еще один пассаж из интервью «Плейбою». Джениффер задает г-ну Жириновскому вопрос:

«Можете вы достигнуть того, чего хотите, словами или сила иногда необходима — в политике и в отношениях с женщинами?»

Лидер ЛДПР отвечает:

«И в том и в другом случае. 80 процентов разговоры и 20 процентов — сила. Насилие иногда требуется. Только в малых дозах, иногда...»

И вот сторонник дозированного насилия предстанет перед нами в новой роли, роли душителя-потрошителя, увлеченного, но, правда, не очень умелого. Что ж, в детстве надо было смотреть шедевры соцреализма, да хотя бы «Ленин в Октябре». Помните? «Да кто же так душит?! За яблочко его, за яблочко!»¹¹

Впрочем, если регулярно практиковаться, то успех рано или поздно придет...

Однако, разглядывая на многочисленных телеповторах лицо г-на Жириновского, следует задать себе вопрос: является ли это отчетливо выраженное сладострастие внезапным выплеском ординарной «взрослой» сексуальности или сексуальности какого-то специфического рода? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним еще раз д-ра Фрейда: он отмечает, что в определенный период развития индивида формируется особое рода неустойчивая организация, именуемая им (Фрейдом, не индивидом) *прегенитальной*. В этот период развития (который, по мысли Фрейда, должны пройти все) на первом плане находятся не генитальные влечения, а *садистские* и *анальные*. Противоположность мужского и женского здесь не играет роли; ее место занимает противоположность *активного* и *пассивного*. И то, что в проявлениях этой фазы кажется мужским, оказывается выраженным стремлением к овладению, легко переходящим в жестокость¹².

Именно такого рода импульсы и проявились, как мне кажется, во время скандала в Думе. Эту точку зрения, очевидно, подтверждает и тот факт, что, по Фрейду, на прегенитальной фазе развития весьма сильно проявляется стремление к *разглядыванию*¹³, что весьма свойственно также и г-ну Жириновскому.

Вспомним поездку по Волге. Устав уговаривать русско-американских дам, г-н Жириновский готов удовольствоваться неким зрелищем — правда, этот спектакль предполагает участие более чем двух актеров:

«Я люблю больше смотреть... Видеть, как другие делают это. Видеть их ошибки. Плюс я лентяй. Это вдохновляет меня наблюдать за страстью молодых...»

Дня через три-четыре после того, как цепкие пальцы г-на Жириновского нащупали шею г-жи Тишковой, имела место примечательная пресс-конференция, на которой сказано было примерно следующее: даму лишь мягко отвели в сторону... Она, в сущности, сама виновата... Может, у нее проблемы в личной жизни... Сидит одна среди женщин... А хочется здорового мужского коллектива... Один депутат (не было сказано кто) установил, что означенная дама прямо *балдела*, когда депутаты-мужчины прикасались к *определенным местам* ее тела... Ну, получила женщина удовольствие... А вы изображаете дело так, будто имели место хулиганские действия... (Тут, заметим, снова появляется здоровый коллектив, заявленный во время памятного путешествия парохода «Жириновский» по Волге-реченьке и так напугавший нашу либерально-демократическую американскую гостью...)

Очевидно, что г-н Жириновский относится к тем проникательным людям, которые понимают, что главное — крутить педали велосипеда, иначе он остановится и упадет; куда движется велосипед, в каком направлении — это уже нечто второстепенное. Поэтому не столь важно, в какой форме обозначается движение велосипеда, политическая динамика, выплески политического темперамента. Если г-н Жириновский желает приструнить рванувшегося из думской фракции куда-то вбок депутата выразительными словами: «К ноге, собака!» — а потом, взяв его за лацканы, немного потрепать, задев, возможно, его пустой головой о стену, то это лишь одна из форм кручения педалей. Остановка смерти подобна, политической смерти, разумеется.

И чтобы велосипед не остановился, г-н Жириновский готов на самые фантастические предприятия, от визита в милый его сердцу Ирак до нежной, перемежающейся несколько вялыми поцелуями и некрутым

стриптизом встречи с итальянской порнозвездой. (После встречи Илона Сталлер объявила, что их с Жириновским разделяет пропасть, ибо Жириновский за войну, а она за мир... Ну почему, почему все они — Джениффер, Маша, Илона — такие... неблагодарные?!)

Сексуальный эпатаж и явственно выраженный эксгибиционизм г-на Жириновского, несомненно, являются собой попытку аутопсихотерапии: налицо ситуация вынужденной сублимации и чрезвычайно инфантильная по форме попытка ее преодоления.

Нет, Жириновский — это не профессия, это призвание. Жириновским нельзя родиться, Жириновским надо стать. И еще надо, чтобы история родной страны предоставила возможность раскрыться столь яркой и *неординарной* индивидуальности. До начала 90-х у страны не было возможности наблюдать столь примечательное самопроизвольное семя... самовыражение. И это бросает некоторую тень на эпоху заката и одряхления коммунизма в России, а также и на первые, рассветные годы перестройки, существенно обедняет их, как обедняло их отсутствие немецкого баночного пива, МММ или тампонов «Тампекс». Но наше яркое времечко, взыскующее ярких идей и ярких личностей, подобным недостатком не страдает и дает возможность буквально всем и каждому раскрыть свои недюжинные (или любые иные) способности и взять судьбу-злодейку за горло. Так что — время, вперед!

¹ См.: «Архетип», 1995, № 1 и № 2.

² «Вечерняя Москва», 16 февраля 1995 г. (далее используется перевод интервью, сделанный собственным корреспондентом «ВМ» в США Давидом Гаем).

³ Такова интерпретация идей Ницше, данная Мартином Хайдеггером. См.: Хайдеггер М. *Время и бытие*. М., 1993, с. 65—66.

⁴ Подробнее об этом см.: Гуревич П. *Самопознание*. — «Архетип», 1995, № 1.

⁵ Фрейд З. *Будущее одной иллюзии*. — В кн.: *Сумерки богов*. М., 1990, с. 112—113.

⁶ Там же, с. 112.

⁷ См.: *Бессознательное власти*. Беседа с В.А.Подорогой. В кн.: *Бюрократия и общество*. М., 1991, с. 97—104.

⁸ Воспоминания Н.В.Басаргина. — В кн.: *Мемуары декабристов*. Южное общество. М., 1982, с. 128—129.

⁹ Чехов А.П. *Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах*. Т. 14—15. М., 1987, с. 81.

¹⁰ Фет А. *Воспоминания*. М., 1983, с. 116.

¹¹ Не следует искать в последней фразе какого-либо намека на блок «Яблоко».

¹² Фрейд З. *Введение в психоанализ*. Лекции. М., 1989, с. 208.

¹³ Там же.

ТОЧКИ-В-ХАОСЕ.

Микрособытие как квинтэссенция технологий власти

Установить точку в хаосе (впечатлений, переживаний и т. д.) — это значит организовать хаотическое движение в определенном направлении, ввести его в порядок. Хаос — это космический порядок, который представляется хаотическим только с точки зрения макроскопического, но не микроскопического наблюдения. Собственно, хаос обретает черты порядка на микроскопическом уровне... То, что мы видим микроскопически, есть, возможно, остатки, следы, обломки невидимого космического мира.

Валерий Подорога. Феноменология тела

Существует определенная презумпция того, как должен выглядеть научный и тем более философский текст, некое аксиоматическое представление о логике научного изложения. Эти правила довольно жесткие. Предполагается, что научные и тем более философские описания должны отражать мир строго логически, адекватно, «правильно». Язык науки должен быть строгим, выверенным, оперировать понятиями, значение и смысл которых точно оговорены, разворачивать по возможности безукоризненную и неуязвимую для критики аргументацию и доказывать нечто путем

построения логических цепей и цепочек. Наконец, наука или философия должны *объяснять*.

Однако (не говоря уже о том, что все безмерно устали от теоретизаций и генерализаций) совершенно непонятно, почему при таком объеме произведенных научных обобщений мы так плохо знаем и так плохо понимаем окружающий мир...

Все ли и всегда ли следует обобщать? И как следует обобщать? Разные люди, разные фигуры, разные лица проходят перед нашими глазами. Различны интерьеры, в которых возникают и исчезают эти портреты. Различны события, в которых сталкиваются, пересекаются эти фигуры. Мозаичны, многообразны, порой несообразны и всегда несводимы друг к другу сами процессы, явления и события. И наверное, возможны и допустимы, даже необходимы разные *позиции видения*. И кто доказал, что для постижения хаотичного и сумбурного мира необходима строгая логика и последовательная аргументация? Возможно, подобное постигается при помощи подобного, и наш разорванный, фрагментарный, располагающийся в нескольких параллельных, не соприкасающихся между собой хронологических и пространственных рядах мир следует описывать как-то по-иному? И «серые точки в хаосе» (как выразался Пауль Клее), и *точки-в-хаосе* (как выражается Валерий Подорога) располагаются «правильно» тогда, когда мы не пытаемся расставить их в том порядке, который чужд органике бытия? И воспринимать их «правильно» — значит воспринимать их так, как их выстраивает наше сознание и как наша память возвращает их нам? И только этот порядок является естественным и правильным?

Может быть, и академическая наука, и философская рефлексия, и литературное творчество, и живопись, и поэзия способны стать пересекающимися мирами только лишь в силу того, что сходным образом

представляют и воспроизводят (но не отражают) окружающий большой мир и обладают способностью микроскопического наблюдения? И тогда текст становится интегратором разорванного, мозаичного мира и способом отражения этой разорванности в пространстве философской рефлексии.

«Зрения... чтобы видеть микроскопическое, мы не имеем», — пишет В.А.Подорога, суждение которого предпослано этой работе в качестве эпиграфа, и, более того, выделяет эти слова в тексте своей книги курсивом.

Но мы не имеем и зрения для постижения феноменов макроскопических.

Здесь важно не столько уяснить точно, что понимается под *микроскопическим* и *макроскопическим*, сколько договориться о том, что такое *видеть* и что есть *видение*. Если видение — это не способность разглядеть все детали всех микроструктур, а способность воспринять и осмыслить микроявления, происходящие внутри социумов, как осколки макрокосма, идентифицировать их в качестве таковых, то такое зрение, как и знание, и интеллект может быть воспитуемо, генерируемо, организуемо.

Публикуемые далее заметки являются попыткой выработать «микроскопическое зрение», для начала в отношении такого феномена, как проявление на микроуровнях социальности технологий власти, причем попыткой очень и очень неамбициозной, ибо несоразмерность задачи и возможностей ощущается автором весьма отчетливо.

Вероятно, кстати, что *микрособытие* — не самый удачный термин для того рода явлений, которые служат предметом рассмотрения в контексте данного исследования, но тем не менее именно этот термин дает возможность отделить события Большой Истории, события эпохальные, исторические или хотя бы

просто значительные, от массовых, рядовых явлений обыденной жизни (тех, которые архивисты исследуют на основе *массовых источников*).

1. Июль 1988 года. Бой тары

Акт

г. Москва
1988 г.
м-н «Балатон»

от 21 июля

Мы, нижеподписавшиеся, зам. зав. отделом И-кина Л.Т., водитель Мих-ков, от общественности Куз-ко составили настоящий акт в том, что сего числа в продбазы торгова «Гастроном» на автомашине № МНМ 73-60 по накладной № 303289 от 21 июля числа было получено вино Рислинг — Кечкемет в количестве 2400 бутылок.

При приемке и 100% проверке был обнаружен бой одной бутылок на сумму три руб.

Укладка в машине нормальная, горловины и прокладки в наличии имеются.

Зам. зав. отделом
Водитель
От общественности

Подпись
Подпись
Подпись

У меня имеется несколько десятков подобных актов, в которых фигурируют разные фамилии, различные номера машин, разные приемщики товара, различные напитки (вермут, шампанское, сухое вино), — неизменным остается лишь одно — количество пострадавшей в пути продукции: 1 (одна) бутылка.

И талантливая миниатюра Михаила Жванецкого, в которой водители Ларионов и Кутько «обязуются произвести бой тары в приемлемых размерах» (цитирую по памяти), является талантливой импровизацией, основанной в конечном счете на распространенном представлении о том, что субъект произвольно определяет

технологии власти, в то время как на самом деле этот субъект обладает лишь правом расположиться вдоль силовых линий технологического поля власти.

Очевидно, что традиционная «бутылка» водителю является де-факто гарантированным способом расплаты за транспортные услуги, не менее гарантированным, чем зарплата того же водителя в автотранспортном предприятии. В то же время де-юре эта форма не легитимирована. Почему? В чем смысл этого зазора между стимулом реально существующим, гарантированным фактически, но тем не менее иллегальным, и стимулом официальным? Очевидно, наличие этого зазора обусловлено технологически: сохраняется возможность того, что практически гарантированное, но юридически не обеспеченное может быть отнято, и это создает власти дополнительные возможности для маневра и манипулирования.

Кстати, аналогичную технологическую функцию выполняет зазор между юридически гарантированным и реально (но уже в меньшем объеме) обеспечиваемым (проблема всех советских конституций).

Но это лишь один аспект проблемы, констатация зазора между стимулом официальным и стимулом реальным в чисто количественном измерении, независимо от натуральной формы. Есть и другой аспект: в России бутылка всегда была некоей символической, самодовлеющей сущностью. Умение добыть бутылку рассматривалось индивидом как средство самоутверждения. «Каждый день бутылку имею, а то и две» — эта фраза отражает не материальные возможности индивида, а его способность получать некую стабильную символическую надбавку к тому, что государство, власть ему официально должны. На самом же деле это не он бутылку имеет, это власть его посредством этой сверхнормативной бутылки имеет. Власть становится абсолютно невидимой, на поверхности оказывается лишь результат

действия ее технологий, которые индивид, чье сознание не в состоянии постигнуть механизмов действия власти, самонадеянно считает результатом собственных целенаправленных усилий.

2. Март 1969 — ноябрь 1974 года.

ОКО власти

Технологии власти действуют в различного типа пространствах. Прежде всего это, конечно, космос, макрокосм, глобальное пространство власти, схваченное, скрепленное определенной системой однородных, имеющих общих генезис технологий. Чаще всего это государство, обладающее всей системой политических и социальных институтов, возникающих как своеобразная надстройка над системой технологий власти и потребных для того, чтобы контролировать действие этих технологий. Далее, это определенного рода «базисные» структуры, микрокосмы власти. Каждый из подобного рода микрокосмов находится на пересечении многих властных технологий, однако, если мы бросим взгляд на последние несколько веков российской истории, то ясно увидим, что и дом-двор, и российская сельская община, и боярский или княжеский род, и Царскосельский лицей, и кадетский корпус, и сталинские колхозы, и советские студенческие общежития, и система домового самоуправления, включавшая в себя ЖЭКи со всем шлейфом отходящих от них институтов (домкомы, товарищеские суды, партийные организации КПСС по месту жительства и т. п.), имеют между собой нечто общее и представляют собой определенного рода субсистемы, локализирующие определенные группы людей при помощи некоей совокупности технологий власти, присущей этим специфическим системам (или микросистемам) и не всегда сводимым к более «сильным», глобаль-

ным технологиям власти, формирующим общество в целом и «ответственным» за него как макроструктуру.

Подобные микрокосмы власти выполняли на протяжении всей российской истории, в сущности, одну и ту же функцию — десубъективацию социума, подавление в нем цивилизационного начала за счет гипертрофии властных технологий, и в конечном счете (в тоталитарной системе) — формирование коллективного социального и политического тела (последнее понятие я употребляю примерно в том смысле, какой вкладывает в него Валерий Подорога, — см., например, известную публикацию «Бессознательное власти» в вышедшей в 1991 году книге «Бюрократия и общество», с. 67—72).

Если внимательно посмотреть, как, например, структурирован такой элементарный, всем знакомый микрокосм власти, как школьный класс, мы увидим, что здесь, на микроуровне, как бы продублирована институциональная структура общества. В частности, в структуре «классного самоуправления» зеркально отражается дуализм «политико-идеологических» и «административных» органов, двух основных составляющих управленческих структур тоталитарного и посттоталитарного общества. Так, староста класса, звеньевые, физорг, санитары — это как бы аналог административной, чисто управленческой иерархии; совет отряда, председатель совета отряда, — это структура «политическая», редколлегия вывешиваемой три раза в год, по большим праздникам стенгазеты — «идеологическая».

Аналогичным образом организуются и микроструктуры в вузе: староста — комсорг, комсомольское бюро (где есть ответственные за «сектора»: идеологический, организационный, культурный и т. д.).

Даже в структурах, которые являются не столько микроструктурами общества, сколько ячейками власти, таких, как партийные учебные заведения или аппараты

партийных органов, можно проследить отражение институционального дуализма: в учебных группах высшей и просто партийных школ, наряду с партгруппами, обычно существовали также старосты, и даже в аппарате ЦК КПСС наряду с парткомом аппарата ЦК и соответствующими избираемыми подразделениями в отделах существовали — правда, не старосты как воплощение административного начала — а профкомы, которые занимались административными, хозяйственными и бытовыми вопросами, вплоть до образования общественных комиссий, ведавших летним отдыхом работников аппарата в дачных поселках управления делами ЦК.

Универсальность технологических структур на уровне микросоциума вполне подтверждает и исследование такого микрокосма власти, как студенческое общежитие советских времен.

Это уже микрокосм, характерный для XX века, где благодаря более или менее изоцированной дисциплинарной технике (в нашем случае — менее изоцированной) власть получает доступ к мельчайшим клеточкам человеческого социума, становится способной контролировать все и всяческие проявления человеческого социального опыта, вплоть до телесной и сексуальной практики индивидов.

Примечательно, что то глобальное дисциплинарное пространство, которое формировало советское студенческое общежитие как микрокосм власти, было настолько привычным и знакомым всем и каждому, что, как правило, даже не воспринималось как пространство власти, как элемент той же технологической ткани, в которую входили политбюро или КГБ с хорошо отлаженной системой борьбы с диссидентами или лагерь за колючей проволокой где-нибудь в болотах Мордовии или психбольница.

Если сформулировать суть воздействия технологий власти на студенческий контингент, проживавший в

конце 60 — начале 70-х годов в филиале Дома студентов МГУ им. М.В.Ломоносова (в моем распоряжении имеется значительный массив документов, характеризующий функционирование ФДС именно в этот период), то она заключалась в максимальном ограничении самых насущных, жизненных прав и свобод человека-под-властью: абитуриента, студента, аспиранта и т. д. Ограничивается свобода передвижения в пространстве и во времени: после 23 часов студент должен находиться в своем корпусе, в противном случае у него отбирается (вахтером, дежурным администратором и т. п.) студенческий или читательский билет, вернуть который возможно лишь через процедуру представления администрации ФДС соответствующей, покаянной по характеру, объяснительной записки, то есть, с точки зрения отношений власти, подтверждения своей лояльности установленным в данном микрокосме правилам, признания их разумности и легитимности.

Ограничивается приватность личной жизни — она должна быть абсолютно прозрачной для агентов власти и контролируема в любой момент, в любой ситуации и любыми средствами. Мелочной регламентации подвергаются все стороны жизни студента, вплоть до того, что ему запрещается стирать носовые платки или носки в раковине умывальника, играть в снежки в непосредственной близости от корпусов общежития, не говоря уже об игре в карты, за что в описываемое мною время еще порой выселяли из общежития и исключали из университета.

Ограничиваются проявления своего индивидуального «Я»: скажем, эстетические вкусы, выходящие за рамки нормативного. Если в общежитии есть комендант, то ему виднее, является Пикассо художником или нет и могут ли репродукции его картин присутствовать в комнатах студенческого общежития. Тем более идеологической комиссии студкома виднее, может ли в

комнате на стене висеть портрет, скажем, Че Гевары, или он уже считается не героем, а сомнительного толка «леваком» (что об этом думает человек, портрет повесивший, значения не имеет).

Наконец, ограничивается сексуальная жизнь: установленный и запротоколированный факт сексуальной близости в стенах ФДС считается (в описываемое мною время) одним из наиболее крамольных, «аморальных», вызывающих поступков, выявление и фиксация которых вызывает особое рвение у разного рода администраторов и придает особый смысл деятельности оперативных комсомольских отрядов — ОКО.

Чрезвычайно важно то, что контроль над микрокосмами власти осуществляется путем структурирования этого микрокосма, своего рода иерархизации, то есть не только проникновения «фигур контроля» (тех же ночных администраторов) внутрь микрокосма, но перереорганизацией внутренней его структуры таким образом, чтобы внутри нее появились элементы, осуществляющие функции контроля.

Но если в школе олицетворением власти является фигура учителя (директора, завуча) — и грозные тени от фигур родителей, а «самодетельные» структуры занимают место третьестепенное, в студенческом общежитии дело обстоит иначе. Здесь нет учителей и родителей (хотя появляются куда менее авторитетные фигуры внешнего контроля — коменданты, дежурные администраторы, вахтеры и т. п.). И поэтому «институции», сработанные из «ребра» самого микрокосма, становятся существенной частью механизма власти, далеко не символическим средством поддержания технологического пространства такого типа микросоциума.

Если говорить о механизмах контроля в общежитии посттоталитарной эпохи, то необходимо назвать в

первую очередь уже упоминавшиеся оперативные комсомольские отряды.

Собственно говоря, для того, чтобы вспомнить, что такое ОКО, достаточно было бы десятку студюзузов, окончивших некогда МГУ, собраться за тесным дружеским столом и обменяться воспоминаниями, которые, в части, касающейся пересечений с оперативниками, живы, как никакие иные.

Мне даже довелось как-то раз услышать почти исповедальную историю о том, как студентка филфака, первый раз в жизни после больших колебаний решившаяся расстаться с девичеством, была именно в этот самый знаменательный день и час ее жизни застигнута вместе со своим приятелем в клетушке высотного здания МГУ имеющими поразительное чутье на подобные вещи бойцами ОКО. Проще говоря, ОКОбисты, в отличие от школьных санитаров, которые становились в дверях и заглядывали одноклассникам в уши — достаточно ли они, уши, чисты, — заглядывают однокурсникам в башку и под одеяло, надзирая за чистотой идеологической и моральной.

Однако после эпидемии воспоминаний, охватившей бывших вождей, их детей и детей их детей, соратников, охранников, шоферов, жен, любовниц, секретарей и пресс-секретарей, разведчиков и контрразведчиков, диссидентов, советников, академиков, проституток, отставных генералов и экс-министров, в обществе как защитная реакция появилось некая тяга к документу, которую я не могу игнорировать. Даже если речь идет о вещах вроде бы общеизвестных и не требующих документального обоснования.

Я не буду здесь касаться политико-идеологических аспектов функционирования ОКО (рапорты-доносы на братьев-студентов типа: такой-то держал в руках эмигрантский журнал, другой сочувственно отзывался, ну, скажем, о Сахарове или об опальном в конце 80-х

Ельцине и т. п. — некоторые из подобного рода документов приводятся в очерке «Донес в России»). Остановимся на том, как функционирует власть в ее первоначальном, чистом, не-политическом виде — ведь от этой власти не скрыться никому, даже самым инертным и аполитичным.

В первом из моих «Московских писем», публикуемых в этой книге, я воспроизвел отчет о так называемой «проверке» оперативным комсомольским отрядом МГУ одного из корпусов ФДС «на предмет сызделия» лиц, находящихся в корпусе и оставшихся на ночь, без всяких оснований. По всем законам проведения милицейских облав «членами ОКО были перекрыты этажи и вход в корпус, а также с обеих сторон корпуса стояли члены ОКО, так что возможности выйти незамеченным из корпуса не было». Девушки, оставшиеся на ночь в комнатах своих бой-френдов, стремясь спастись от неприятностей себя и своих друзей, пытаются выпрыгнуть в окно, даже со второго этажа...

За этой отчаянной, аномальной ситуацией явно прослеживается страх, страх людей, с рождения привыкших жить не по законам, а по инструкциям. Ибо неприятности в то время носили характер необратимый: советские суды дела об исключении из высших учебных заведений не рассматривали; цепочка действий, начатая перекрытием ходов-выходов, тянувшаяся через докладные ОКОбистов и комендантов, непоправимо обрывалась приказом ректора об отчислении...

Впрочем, попытка «уйти» от ОКО через окно — это был хоть какой-то шанс. Когда предыдущее поколение оперативников проводило облавы в женской (мужской) зонах проживания высотного здания МГУ на Ленгорах (а в начале 60-х в целях исправления нравов в университетских общежитиях было введено раздельное проживание), у студентов (студенток), застигнутых в

неположенное время в неположенном месте, подобного шанса не было вовсе...

Забавно, но даже столь «малые», чисто локального значения технологии, осуществляемые в числе прочего и посредством ОКО, порой выходят из-под контроля; происходит гипертрофия властных технологий на самом что ни на есть микроуровне.

Из журнала дежурных администраторов:

«17/III — 69. [...] Оперативники ночью в 125-й комнате разбили динамик. В 24.00 какой-то мужчина и две девочки с собакой находились в 124-й комнате. Разбит графин».

Завхоз общежития жалуется заместителю директора Дома студента т. Девяткину И.К.:

«Для оперативно-комсомольского отряда при филиале Дома студента выделены две комнаты с полной обстановкой и оборудованием.

В данное время поведение членов оперативного отряда безобразное, все ломают, все портят, сломали три стула, сломали телефон, сломана радиоточка, сломан динамик, комнаты находятся в антисанитарном состоянии.

Предложение: отобрать одну комнату для нужд филиала, виновных наказать».

Бумага датирована 20 февраля 1969 года, на ней имеется следующая резолюция: «В дело. Командир ОКО предупрежден о наведении порядка в помещении ОКО, дано распоряжение о наведении порядка».

Как явствует из следующего, адресованного начальнику управления общежитиями МГУ М.Д. Чибирову документа (датированного 14 ноября 1974 г. и отпечатанного на бланке комитета комсомола МГУ), порядок навели радикально, комнату отобрали — но из него же явствует и нечто иное:

«Штаб Оперативного отряда при Комитете ВЛКСМ МГУ убедительно просит выделить для помещения отряда в ФДС комнату № 124 4-го корпуса ФДС. Выделение этой комнаты будет способствовать улучшению работы отряда по охране общественного порядка в ФДС МГУ».

Подписано: *«Командир ОКО МГУ <...>».*

Пометка начальства: *«Не возражаю».*

Круг, таким образом, замкнулся.

Примечательно, кстати, что «институт» дежурных администраторов, собранный из материала *внешнего*, материала, заимствованного *извне* микрокосма, в полной мере ощущает свою причастность к глобальным технологиям власти.

Из журнала дежурных администраторов:

«Обращаю внимание на одну гостью, посетившую в 4-м корпусе студента-африканца в комнате 3<...>. Она, как удалось установить, “болтает” про электроподстанции Метрополитена, которые обслуживает, так что нужно сообщить о ней Спецсектору Метрополитена. Фамилия ее Т-ва Н.А. (служ. удост. № <...>)».

Нетрудно видеть, что в массиве документов ФДС появляется текст, представляющий собой типичный донос и, как и положено доносу, апеллирующий к весьма специфическими институтам власти.

Приведенные нами фрагменты свидетельствуют помимо всего прочего о том, что ценность самого принципа иерархизации (в том числе и внутри микросоциумов) оказывается для власти несравненно более значительной, нежели мизерные с точки зрения власти негативные побочные эффекты, проистекающие от действия этого властного механизма. Поэтому иерархия микросоциума остается незыблемой на протяжении всего описываемого нами периода.

3. Август 1991 года. Была такая партия...

Контргамбит Фалькбеера

Л.Н. — Автор

1. e2-e4 e7-e5 2. f2-f4

Тут я между прочим поинтересовался, не будет ли мой партнер возражать, если я сыграю 2... d7-d5 (ход, который способен испортить настроение даже самым отчаянным любителям королевского гамбита). Однако мой оппонент остался невозмутим и даже произнес замечательную фразу: «Это не мой вопрос, это твой вопрос». Далее последовало:

2... d7-d5 3. e4:d5 e5-e4 4. c2-c4 c7-c6 5. d5:c6 Kb8:c6 6. d2-d3 Kg8-f6 7. Kb1-c3 Cf8-b4 8. a2-a3 Cb4:c3+ 9. b2:c3 O-O 10. d3-d4 Фd8-a5 11. d4-d5 Лf8-d8 12. Cc1-d2 e4-e3 13. Cd2:e3 Лd8-e8 14. Фd1-c1 Kc6-d4

Здесь белые задумались — в первый и, как оказалось, в последний раз... Конь становится на поле, атакованное дважды, слоном и пешкой; в сущности, в этой партии пункт d4 представляет собой ту самую точку, в которой пересекаются силовые вектора белых, он есть некое средоточие технологий власти; но взять зарвавшуюся черную фигуру нельзя — этому препятствует двойная, по вертикали и диагонали, связка; силовые воздействия оказываются фиктивными, причем в точке их наибольшей интенсивности.

Все заканчивается очень быстро.

15. Ла1-b1 Ле8:e3+ 16. Кре1-d2 Ле3:c3
17. Фс1:c3 Kf6-e4+ Белые сдались.

Последняя партия, сыгранная автором перед августовским путчем 1991 года, а именно 12 августа, в обстановке, приближенной к дачной.

Лишний материал не принес белым счастья, и они не смогли защитить свой «белый дом», в отличие от Белого дома, где забаррикадировались парламент и правительство России.

Возможно, гэкачепистам следовало действовать в той энергичной манере, в какой провели эту партию черные (особенно отмечу ходы 12... e3! и 14... Kd4!). Ибо, как говорил еще Ленин, оборона есть смерть вооруженного восстания, а — добавлю от себя — метания между обороной и наступлением — еще хуже, чем оборона.

Вообще, сыграв эту партию, я немного почувствовал себя человеком романтического XIX века — в стране, где, после спокойного миттельшпиля брежневских времён, разыгрывался бурный эндшпиль века XX и, сквозь мелькание фигур и лиц, мелькание, отразившееся в какой-то степени и в этой небольшом и, наверное, немного сумбурном опусе, начинал просвечивать не вполне еще ясный дебют века XXI.

Вообще, обе эти партии — и сыгранная теплым летним вечером 12 августа, и разыгранная в столице и далеком Форосе 19 — 21-го числа того же месяца — показывают, *что* человек должен делать в мире, пронизанном силовыми векторами власти, на которых он, казалось бы, оказывается точкой, песчинкой в песочных часах, которые переворачивает какая-то неведомая и неумолимая сила.

Как жить в таком мире, мире, где от тебя ничего не зависит, да и от сильных мира сего зависит тоже, по большому счету и в серьезном историческом масштабе, не так уж много? Наверное, надо делать то, что ты должен делать, и не думать о последствиях, если ты ощущаешь себя достаточно сильным, или «жить не по

лжи», то есть не соучаствовать в преступлениях и лицемериях власти, если силы и возможности твои ограничены.

К сожалению, нужно много времени, чтобы понять это, а поняв, нужно, оказывается, очень немного времени, чтобы обнаружить, насколько трудно с этим пониманием жить.

Конечно, шахматная метафорика не столь оригинальна и даже отчасти уязвима (как уязвима любая метафора). Вместе с тем этот метафорический ряд создает достаточно многообразные возможности для «пользователя». (Отмечу здесь сознательную двусмысленность заголовка «Была такая партия» применительно к событиям августа 1991 года.)

Что самое худшее в шахматной партии? — Цугцванг: надо ходить, а любой ход ведет к поражению. — А что еще хуже? — Мат. Еще хуже мат. — А еще хуже? — А еще хуже — не бывает. — А если представить, что мы играем шахматную партию с компьютером, что нам противостоит непонятная, непохожая на нас внешняя сила? Здесь-то есть что-то похуже мата? — Хуже мата — когда компьютер «зависает» и его надо перезагружать. Текст недоигранной партии при этом утрачивается. — Значит, мы играем с компьютером. — Почему? Да потому, что мы так и живем — между дебютом и эндшпилем, между августом и Октябрем, между кратким, но выразительным матом и неопределенно долгим зависанием между непредсказуемым прошлым и предсказуемым будущим... Так что делай свой ход и жми на кнопку часов...

Этот «послеавгустовский» сюжет, обработанный в свое время автором для журнала «Архетип», в контексте нашей основной проблематики (технологии власти в российской истории) интересен прежде всего тем, что в нем отразилась та навязчивость, с которой флюиды

власти проникают в человеческое сознание, определяя, в числе прочего, и метафорику языка. Осознание этой навязчивости, этой претензии на всеобщность (по поводу которой В.А.Подорога когда-то сказал: «Это сознание хочет быть сознанием всех») есть один из немногих реальных способов демистификации власти.

Но есть и другой аспект проблемы. Шахматная партия — это своего рода схема, модель неких силовых взаимодействий, и здесь, на модели, хорошо видно, как в определенный момент технологии власти перестают действовать. Как, почему это происходит? Связано ли это с изменением характеристик пространства власти, перераспределением, переформатированием этого пространства (скажем, в августе 1991 года едва ли не символическими баррикадами)? Или с тем, что власть в какой-то момент оказывается в ином, непривычном для себя временном измерении, в силу чего становится неспособной ввести в действие ту технологическую машину, для запуска которой требуется иное, более длительное или, напротив, более короткое время? Так или иначе, октябрьские события 1993 года показали, что те архаические технологии, которые могли быть (но не были) использованы властью в августе 1991 года, отнюдь не атрофировались и та технологическая цепочка, которая соединяет подавление стрелецких бунтов, разгром восстания на Сенатской площади в декабре 1825 года, «кровавое воскресенье» 9 января 1905 года, известные события в Новочеркасске в июне 1962 года и т. п., не была раз и навсегда оборвана в августе 1991-го.

Во всяком случае, вопрос о логике и, если хотите, механике возникновения и, используем марксистский термин, **отмирания** технологий власти остается достаточно сложным и непроясным.

ВРЕМЯ ВЛАСТИ

Бессмертное тело

Помнится, три-четыре года назад ко мне в руки попал журнал «Континент», издававшийся тогда, кажется, еще за границей, но уже продававшийся в киосках «Союзпечати». В этом журнале я нашел записки Сергея Довлатова «Соло на ИБМ». В числе прочего Довлатов описывает историю о том, как некая поэтесса написала стихи, в которых были и такие строчки:

*«...И Сталин мечтает при жизни
Увидеть огни коммунизма...»*

Ее вызвали на заседание партбюро и спросили: «Что значит — при жизни? Вы намекаете на то, что товарищ Сталин может умереть?»

Поэтесса отвечала в таком примерно духе: мол, товарищ Сталин как теоретик марксизма и вождь народов бессмертен, но как живой человек и материалист он — смертен. Физически он может умереть, духовно — никогда...

И за этот «материализм» ее тотчас же исключили из партии.

Таким образом, тело вождя (а не только столь неуловимая субстанция, как идеи) — бессмертно, бессмертно *apriori*. Бессмертно потому, что власть в своем самоутверждении не знает и не может знать пределов,

пусть даже определенных очевидной рациональностью или законами природы.

Кстати, еще в середине 60-х эту типологическую ситуацию описал в своей знаменитой книге «Миф машины» Льюис Мэмфорд. В числе прочего он заметил, что древним царям приписывалась фантастическая длительность царствования. В шумерском мифе о потопе, замечает Мэмфорд, царь Зиусудра (эквивалент библейского Ноя) награждается вечной жизнью — «как бог».

Мэмфорд считает это проявлением возвеличивания царей древности; но последнее — лишь частный случай процесса самовозрастания власти как таковой:

«Но эта раздвинутая хронология была только светской стороной более общей экспансии власти, символизированной в царских притязаниях на бессмертие»¹.

И наконец, вывод Мэмфорда, с которым трудно не согласиться:

«Стремление к беспредельной жизни явилось частью общего раздвижения пределов, к которому привело первое великое сосредоточение власти с помощью средств, созданных мегамашиной. Человеческие слабости и прежде всего смерть были оспорены и отвергнуты»².

Мне довелось познакомиться с записками многих выдающихся археологов. Они наводят на мысль, что устройство пирамид и мавзолеев — это, в сущности, довольно грубая попытка удержать, материализовать эту ситуацию бессмертия смертного тела. Но как только материализация начинает осуществляться, миф о бессмертии рушится. Мне кажется, очень убедительно это показал Достоевский в известном фрагменте о смерти старца Зосимы из «Братьев Карамазовых». Тело бессмертно, пока факт его бессмертия не начинают устанавливать эмпирически. Сам акт проверки, *плод*

сомнений, оказывается крахом мифа: миф неодолим, лишь пока он беспорен...

Бесконечное время

Но вечное время власти — это одновременно остановившееся время, без-время для подданных, помещенных в поле действия силовых линий этой власти.

В пространствах, подчиненных властью себе, пронизанных ее силовыми векторами, структурированных, «форматированных» ею, и время определяется властью. А пространства эти самые разные — от квартиры гражданина, которую власть не желает признавать территорией частной жизни и вопреки всем противопожарным канонам заставляет ее двери открываться *внутри*, делая и это последнее убежище частного человека уязвимым, — до лагеря, тюрьмы, каторги, психбольницы...

В пространстве ГУЛАГа или описанной Чеховым дореволюционной сахалинской каторги — иное время, чем Москве, Петербурге, Центральной России. Характеристикой этого времени является *медленность*; оно не столько течет, сколько истекает...

Примечательно, что и знаменитый протопол Аввакум, оказавшийся много ранее в том же пространстве сибирской каторги, которое пересекает едущий на Сахалин Чехов, никак не соотносит свое путешествие с исторической хронологией. В тексте его «Жития» нет пассажей типа: «в таком-то году» или «в таком-то месяце такого-то года». Существует только год, год вообще, *весна — лето — осень — зима*, год без порядкового номера — некая замкнутая в себе, самодостаточная единица измерения времени:

«На весну паки поехали вперед. Все разорено: и запас, и одежда, и книги — все растащено. На Байкалове море паки тонул. По реке Хилку заставил меня лямку тянуть; зело нужен ход ею был: и поесть неколи было, нежели спать; целое лето бились против воды. <...> Два лета бродил в воде, а зимами волочился за волоки, чрез хребты. На том же Хилке в третье тонул...»

На какой год пришлось это *третье лето*? Вопрос не имеет смысла. В этой системе координат совершенно безразлично, какой год был сначала — 1656-й или 1657-й — и какой потом: *это* время не имеет хронологии.

Фундаментальной причиной *медленности* времени является именно характер пространства — пространства власти, пространства каторжной колонизации. Люди прикованы к этой территории навечно, им некуда спешить, время для них остановилось.

Чехов пишет о своей работе на Сахалине:

«Когда я в Палеве ходил по избам, за мной неотступно следовал надзиратель из поселенцев, родом пскович. Помнится, я спросил у него: среда сегодня или четверг? Он ответил:

— Не могу упомнить, ваше высокоблагородие».

Время в *этой* жизни и в *этом* пространстве течет так же, как за пределами человеческого бытия, вне жизни как таковой, то есть останавливается.

Казалось бы, заключенный, каторжанин, ссыльный должен считать дни, оставшиеся до конца срока; или, если он сослан пожизненно, навсегда зафиксировать в своем сознании день ссылки как самый страшный момент в своей жизни. Однако, свидетельствует Чехов, многие ссыльные не помнят, в каком году они оказались на острове:

«Спрашиваешь каторжную бабу, в каком году ее привезли на Сахалин, а она отвечает вяло, не думая: “Кто ж его знает? Должно, в 83-м”. Вмешивается муж

или сожитель: “Ну, что зря языком болтать? Ты пришла в 85-м”. — “Может, и в 85-м”, — соглашается она со вздохом. Начинаем считать, и мужик выходит прав».

В карточках, которыми Чехов пользовался при проведении переписи ссыльно-каторжного населения, был вопрос о возрасте. Оказалось, у каторжных нет возраста, ибо возраст — это время жизни человека, соотнесенное с общим, историческим временем.

«Женщины, которым уже за сорок, плохо помнят свои лета и отвечают на вопрос, подумав. Армяне из Эриванской губ<ернии> совсем не знают своего возраста. Один из них ответил мне так: “Может, тридцать, а может, уже и пятьдесят”».

Конечно, солнце всходит и заходит, но даже тривиальный пример с солнцем, когда речь идет о времени власти, не столь очевиден, и Чехов это прекрасно понимает, отмечая, что на Сахалине

«...небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечною. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь».

Словом, есть *время* и, скажем так, *ВРЕМЯ*. Первое соотносимо с происходящими помимо человека астрономическими, естественными процессами и может быть зафиксировано или измерено при помощи механических — в широком смысле слова — приспособлений: неважно, песочные ли это часы, или механические, или современные электронные.

Это время человеческой жизни. Время власти, располагающей временем человеческой жизни по своему разумению и часто неразумию, — иное. Оно

замедляется, убыстряется, порой останавливается...
Время власти — это способность власти регулировать, трансформировать, изменять, уничтожать субъективное ощущение времени, по крайней мере в пределах того, что я называю пространством власти.

Случайность лиц...

Но что есть власть? Является ли весьма условное бессмертие тела *власть предохраняющего* — вождя, царя или фараона — символом бессмертия именно этой исторической фигуры — или знаком бессмертия власти как таковой? Я размышлял об этом каждый раз, когда рассматривал масштабные, *многоликие* картины вроде «Заседания Государственного совета» И.Е.Репина или «Мистерии XX века» И.С.Глазунова, я вглядывался в изображения людей, которые когда-то вершили судьбы миллионов, а теперь слились в какой-то немислимой, почти мосфильмовской массовке... Да, они выглядят не более чем статистами, несколько десятков *великих* (или желавших, чтобы их считали великими), сбившихся в толпу и как будто внимающих выступлению какого-нибудь Ивана Ивановича Иванова, которого нет в пространстве картины и который в силу одного этого обстоятельства не превращается в *знак лица*, а сохраняет возможность своего отдельного индивидуального существования.

И зрелище этой массовки, выстроенной на фоне XX века какой-то неведомой и невидимой нам силой, все больше приводит к мысли, что не политик (или платоновский *правитель*, или вождь, или фюрер, или, как говаривали в старину в России, *делец*) творит историю; эту историю творит — пишет, ваяет, выжигает на человеческом теле — *власть*, *власть* как таковая, *Власть* с большой и страшной буквы, а политик лишь находится на кончике иглы, которой *власть*

выводит свои знаки... Через посредство фигуры политика власть лишь выясняет свои отношения с историей. И если политик может что-то совершить в некоем географическом и хронологическом пространстве, то лишь постольку, поскольку он осознает механизм самореализации власти или, что случается гораздо чаще, интуитивно действует таким образом, чтобы соответствовать ее императивам.

В этом, помимо всего прочего, проявляется некая «вторичность» политики в сравнении с действием структур власти (я сейчас не буду даже говорить о расхожем представлении, согласно которому власть — это лишь некая эманация политики; на самом деле нетождественность политики и власти более чем очевидна).

Каждый, кто читал знаменитый булгаковский роман «Мастер и Маргарита» (а читали его все), помнит нарисованную там ситуацию бессилия субъекта большой политики (или субъекта власти) перед лицом формировавшихся на протяжении сотен лет традиционных техник власти. Пилат хочет, но не может спасти Иешуа: его «воление» ограничено узким коридором возможного, и лишь внутри этого коридора прокуратор Иудеи вправе, не ставя самого себя под удар, искать разрешения возникшей драматической коллизии; он не есть то Воплощение Власти, которое способно реорганизовать действительность по собственному произволу.

Забавно, но ситуация великого романа практически повторена в одной из известных комедий Эльдара Рязанова, где чиновник, приехавший из столицы для разбора темных государственных дел, а по сути для определения надежности кавалерийского полка, говорит барышне, чей папенька угодил по неосмотрительности в очень нехороший переплет: «Теперь уж не я Ваше дело веду — его бумага ведет». Но *бумага* — это

вовсе не бумага, это *текст власти*, отражение и проявление какой-то закрытой для наблюдателя технологической структуры.

Да что говорить о временах далеких — сегодня мы бесконечно повторяем изумительный афоризм: «Мы хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Если говорить серьезно, то сказанное свидетельствует не только и не столько о бессилии или неспособности к масштабному, эффективному действию структур российской исполнительной власти, сколько о детерминированности этих действий какими-то скрытыми от нас, но чрезвычайно жесткими властными структурами — но структурами *совсем не того рода*, какими являются политические институты или разного рода видимые глазу органы насилия.

Да, именно *власть*, власть как таковая, власть как сумма технологий власти организует и структурирует все наше бытие — политик оказывается в каком-то смысле лишь точкой на ее силовом векторе.

...и вечность машин власти

Вечность установившихся, отработанных многими поколениями механизмов, технологий, можно даже сказать — *машин власти* и случайность лиц, эти машины составляющих и представляющих, выявлена российской историей как нельзя более наглядно. Характерно, что на протяжении десятков, если не сотен лет лица, подлежащие рекрутской повинности, определялись жребием; по Уставу о воинской повинности 1874 года эта практика сохранялась:

«Поступление на службы по призывам решается жребием, который вынимается единожды и на всю жизнь. Лица, по номеру вынутого ими жребия, не подлежащие поступлению в постоянные войска, зачисляются в ополчение».

Удел, определяемый жребием, становился даже более неумолимым и неизменяемым: по новому Уставу не допускался практиковавшийся ранее денежный выкуп от воинской повинности и замена так называемым «охотником», то есть человеком, который соглашался пойти на службу вместо призванного рекрута... А сколько было умерщвлено князей и самодержцев, казавшихся всевластными и незаменимыми, — и были, были они заменены, сколько было самозванцев, наконец, чего стоит проглядывающая время от времени в круговороте бурной российской истории идея о том, что не худо бы выбирать *царя* (почти как рекрутов) *жребием*. Я припоминаю, что на исходе Смутного времени в Москве толковали о том, что надо бы бросить жребий и выбрать таким способом нового царя из трех лиц: князя Дмитрия Трубецкого, князя Ивана Голицына и Михаила Романова...

Кстати, зеркальным отражением такого весьма русского понимания обязательности *роли* и *процедуры* и необязательности, взаимозаменяемости *лиц* стал и принцип наказания участников пугачевского восстания: не столь важные бунтовщики тянули *жребий* — билеты, на которых было написано либо «казнить», либо «простить»... Упомянем в этом же контексте — случайность лиц и безжалостность технологий — и отвратительный принцип заложничества, использовавшийся ордынскими ханами, русскими князьями, затем, уже в XX веке, большевиками, нацистами и сегодня чеченскими боевиками...

...А самодовольство властей предержавших, самолюбование, игра в бессмертие продолжают, они не имеют конца. И тасуются министры и вице-премьеры, и всерьез рассказывают нам люди-у-власти, что и как они будут делать чуть ли не в двухтысячном году, как будто вечно их время...

Забавно только, что в эту игру играют русские номенклатурные мужики, в суете дел и дней утратившие чувство реальности и вдруг ощутившие себя бессмертными шумерскими царьками... Впрочем, мы уже, кажется, жили в высшей и последней формации, где прекращает свой бег История и успокаивается, останавливает свое суматошное движение нелепое и беспокойное человечество...

¹ Мэмфорд Л. Миф машины. — В кн.: Утопия и утопическое мышление. Антология зарубежной литературы. М., 1991, с. 96—97.

² Там же, с. 97.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР И НАСИЛИЕ В РОССИИ

Достаточно очевидно, что в российском обществе существует совокупность различных, несводимых друг к другу властных технологий, некая технологическая структура, формировавшаяся на протяжении веков и действующая поныне. Но в чем заключается специфика этой, *российской*, техноструктуры? Что ее отличает от технологических механизмов, сложившихся в других странах? Что является доминантой в российском механизме власти? Я полагаю, что такой доминантой, которая определяла и в значительной мере определяет облик российского пространства власти, придает ему видовую определенность, является *насилие*, осуществляемое — в типичном варианте — как прямое физическое насилие (а в определенные исторические периоды принимающее форму массового террора): если взять такие параметры, как интенсивность и постоянство воздействия, то в этом отношении Россия, вероятно, превосходит все известные нам исторические примеры XX века.

Эта констатация представляется чрезвычайно существенной в свете развернувшихся в последнее десятилетие (точнее, с началом перестройки в 1985 году) дискуссий о возможных путях развития России, об имеющихся исторических альтернативах, о специфике исторического выбора в России и т. д.

Сегодня нашему вниманию предлагается достаточно широкий спектр вариантов развития страны, рассматриваемых как исторические альтернативы, причем часто противостоящие друг другу и исключающие друг друга. Однако прежде, чем заниматься перебором и анализом предлагаемых сценариев развития, целесообразно уяснить себе, что же такое **исторический выбор** и какими факторами он детерминирован в том или ином геополитическом и технологическом (властном) пространстве.

Ибо противоположный подход, основанный на презумпции исторического оптимизма (для чего отечественная история дает весьма мало оснований) и реальности всех конструируемых или мыслимых «идеальных моделей» исторического развития, имплицитно несет на себе отпечаток суперполитизации, присущей сегодня нашему обществу. Более того, подход этот, скорее всего, располагается вне рамок философского сознания, являясь порождением политикоцентричного, политически ангажированного мышления.

Действительно, политик прежде всего обязан исходить из презумпции достижимости лучшего будущего, рассматривать выбор как нечто перманентно возможное, нечто подвластное активному политическому субъекту, нечто находящееся в рамках возможного — при определенных усилиях либо народа, либо власти, либо их совместной, направленной вдоль одного вектора, воли. Если политик не в состоянии предложить электорату (или обществу, если речь идет о политических системах, чуждых демократическим процедурам) более или менее привлекательную перспективу, он тем самым как бы аннулирует себя как политика. Населению не интересен политический деятель, который, пусть даже реалистично и честно,

повторяет: все беспросветно, следующий год будет еще тяжелее, чем нынешний, безработица вырастет еще больше, спад производства будет продолжаться, плата за изменения будет высокой, а возможности выбора, веер альтернатив чрезвычайно ограничены... Политик обязан видеть выход или, во всяком случае, указывать его другим.

Далее, поскольку нормальная, цивилизованная политика основана на выборе как на процедуре (я имею в виду и выборы в органы и институты власти, и выбор возможных политических решений посредством процедуры голосования), а страной управляют политики, создаются определенные условия для гиперболизации политического менталитета и принципов политической демократии, в частности для своеобразной проекции их на выходящие за рамки политики метапроблемы, к которым я отношу и проблему исторического выбора. В самом деле, политики зачастую обсуждают дилеммы типа: идти нам по пути номенклатурного капитализма или капитализма свободного предпринимательства (и какие законы следует принять для того, чтобы зафиксировать ту или иную траекторию движения) — так, как если бы речь шла о принятии того или иного чисто юридического, нормативного акта или как если бы путь развития страны определялся только или в первую очередь содержанием постановлений или указов.

Естественно поэтому, что политикоцентричное сознание, сталкиваясь с теми или иными политическими, социально-экономическими и в конечном счете «синтетическими», историческими альтернативами, *априорно* принимает сам факт наличия этих альтернатив — не как порождений метафизики, а как реально возможных путей развития — и воспринимает их существование как некую аксиому. Это своего рода

обреченность на исторический активизм и оптимизм, эстафета, принятая у Просвещения как интеллектуальной доминанты эпохи раннего капитализма и у марксизма как у самого оптимистического из революционистских учений Нового времени: за далеким историческим горизонтом требуется увидеть, разглядеть *нечто* — пусть не вожделенный *Парадиз*, где все блага польются полным потоком, но хотя бы какой-то приемлемый образ будущего. Вне подобного оптимистического видения политик не может рассчитывать на поддержку, хотя, возможно, и может сохранить уважение и доверие сограждан...

Однако если рассмотреть веер предлагаемых нам альтернатив с несколько иных позиций, не через призму идеалов и ценностей, а принимая во внимание прежде всего историческое прошлое страны и сформировавшуюся на протяжении едва ли не столетий структуру жестких, ригидных и неподатливых властных технологий, мы увидим, что, например, дилемма «номенклатурный капитализм или свободное предпринимательство?» является ложной, ибо никаких предпосылок для превращения постсоветского общества в общество свободного предпринимательства нет; зато для утверждения номенклатурного капитализма как доминирующего экономического уклада почва готовилась едва ли не веками, и очевидно, гипертрофированный этатизм советского социализма мог стать благодатной почвой лишь для капитализма номенклатурного.

Равным образом, достаточно схоластической, на мой взгляд, является дискуссия о том, *что* нам следовало бы предпочесть: американскую модель демократии, возникшую в процессе эмансипации гражданского общества от государства, или же французскую модель, рожденную в ходе своеобразного

«завоевания» революционным государством консервативного общества? При всем понимании того, что первая основана на саморазвитии гражданского общества, а вторая является «модификацией великого проекта, требующего великих жертв» (А.С.Панарин), следует признать, что в нашем обществе есть все для движения по пути квазирыночного этатизма, а для развития по «американскому пути» предпосылок нет, в сущности, никаких.

Кстати, подобного рода теоретические дилеммы напоминают чем-то рассуждения В.И.Ленина о том, по какому пути следует реформировать аграрные отношения в России — по прусскому или по американскому. Как известно, в этом случае метод мышления, основанный на поиске нормативной, «идеальной» модели общества, отстаивался лидером политической партии, стремящейся при помощи насилия осуществить революционистский утопический проект. И это мне кажется закономерным, поскольку ориентация на нормативную модель и идеальную альтернативу естественным образом влечет за собой попытки осуществить очередной Великий Проект преобразования общества на практике, а на практике подобный проект не может быть внедрен иначе, как *насилом*.

Иными словами, далеко не все, что мы называем альтернативами, и в самом деле представляет собой исторические альтернативы — часто один из сценариев просто лежит за рамками исторического выбора.

Рано или поздно настает время, когда границы, пределы этого выбора приходится очерчивать, и если подходить к подобной процедуре ответственно, реалистически, то может оказаться, что «коридор» исторического выбора окажется значительно более

узким, нежели это представлялось историческим оптимистам с некоторой исторической дистанции. А количество альтернатив, умещающихся в этот коридор, окажется значительно меньшим, чем число разного рода «идеальных моделей» (в веберовском понимании слова), а главное, некоторые полюсные варианты развития, некоторые составляющие бинарных оппозиций, некоторые *исторические альтернативы* явственно останутся за пределами исторически возможного. Возможное же оказывается возможным чаще всего тогда, когда оно, в процессе своего осуществления и превращения в реальное, вписывается в специфику существующего технологического пространства и опирается на существующие технологии власти, а не противостоит им.

Более того, сознательная ставка исторически активного субъекта на насилие ради осуществления тех или иных своих программ или акций, будучи осуществляемой в технологическом властном пространстве, не контролируемом этой властью, пространстве, имманентной частью, а отнюдь не демиургом которого она, эта власть, является, более или менее сознательная активизация технологий власти, существующих независимо от политических режимов, видоизменяет акции власти самым радикальным образом.

Выбор, осуществленный самонадеянным субъектом, далеким от понимания особенностей технологического пространства в России, рискует превратиться в собственную противоположность.

Действительно, мыслилось ли Иваном Грозным все то «странное и чудовищное», что получило впоследствии название опричнины, в момент принятия им известного указа в 1565 году, или же царь (при всех патологических чертах его личности) выбирал нечто иное, видел перед собой какой-то иной путь, какую-то

иную задачу, нежели раскол и опустошение государства? Или следовало бы согласиться с мнением академика С.Б.Веселовского, высказанным еще в 1945 году, что, каковы бы ни были первоначальные замыслы царя, на практике опричнина привела к таким последствиям, которых царь не предвидел и не желал?

Иными словами, властный субъект вышел за пределы собственной компетенции, в то пространство, где власть из средства достижения определенных целей становится властью самой по себе, системой технологий власти, которую этот субъект *сознательно* не в состоянии освоить (ситуация, обозначенная и во многих аспектах исследованная В.А.Подорогой).

А что представлял собой выбор патриарха Никона и вся идея исправления церковных книг? Неужели это был выбор раскола русской православной церкви, ознаменовавшего долголетний трагический раскол русского общества?

И ведали ли большевистские лидеры в октябре 1917-го, что они выбирают террор не *классовый*, а запускают маховик террора *массового*, унесшего жизни миллионов людей: от бывших аристократов, дворян и промышленников до старых большевиков, от зажиточных, *справных* крестьян — «кулаков» до простых пролетариев — слесарей, шахтеров, железнодорожников?

И начиналась ли сталинская коллективизация в 1929 году с умыслом уморить несколько миллионов человек голодом?

И вводились ли советские войска в Афганистан в декабре 1979 года для того, чтобы в течение десятилетия вести там бесперспективную и бессмысленную войну, жертвой которой стали тысячи советских солдат и сотни тысяч афганцев?

И планировалось ли «умиротворение» Чечни как акт, растянутый во времени даже не на месяцы, а на годы?

Во всех приведенных случаях логика автоматически действующего насилия, насилия, являющегося квинтэссенцией властных технологий, оказалась более сильной и неумолимой, чем точечное насилие, проектируемое властными субъектами, «обладателями власти».

Очевидно, исторический выбор — это не просто процесс принятия решений на сверхвысоком уровне. Это нечто принципиально иное. И это не выбор между некими интеллектуальными моделями, проектами, глобальными планами и парадигмами, программами действия, не то, что *субъект* может предложить Истории. Это выбор из того, часто скудного и неприглядного, набора сценариев, которые санкционирует сама История или, на худой конец, то, во что она превращает, трансформирует то, что мы склонны считать *нашим* выбором.

Многократно отмечена одна особенность «алгоритма» исторического выбора в России: как правило, осуществляется наилучший из возможных сценариев развития.

Более того: в истории России чаще всего реализовывался выбор, который был связан с насилием как основной детерминантой властного технологического пространства. Осознанный выбор исторического субъекта мог быть воспринят Историей лишь в том случае, если этот выбор опирался на насилие, подпитывался насилием. Все прочее оставалось лишь эпизодами быстротекущей политической жизни.

Это вполне понятно, поскольку именно насилие формировало то геополитическое пространство, на котором располагался бывший СССР и нынешняя

Россия, и именно оно является квинтэссенцией российских, неизбежно «наследуемых» любым политическим режимом технологий властвования.

Поэтому исторический выбор в России — это выбор власти, а не народа. Народ в этой стране, несмотря на целую череду бунтов, восстаний, революций и гражданских войн, неспособен на исторический выбор, и не потому, что он не способен к насилию. Просто для того, чтобы навязать свой выбор истории, необходимо *целенаправленное, сфокусированное* насилие. Народ же, как показывает история, в силу своей аморфности как социального субъекта способен лишь на спорадическое, стохастическое насилие. И когда мы говорим о том, что в прошлом в России всегда осуществлялся наихудший сценарий, это значит, что осуществлялся сценарий, связанный с той или иной мерой насилия со стороны *власти*, нередко усугубляемого бесплодными попытками «низов» сделать свой собственный выбор.

Я полагаю, Андраник Мигранян не прав, когда полагает, что восстание декабристов потерпело неудачу потому, что его инициаторы прибегли к насилию. Напротив, декабристы проиграли и неизбежно должны были проиграть, поскольку прибегли к насилию совсем не в тех масштабах, которых требовала задуманная ими акция. Убитый на Сенатской площади Милорадович — это что-то вроде трех погибших в ходе августовского путча 1991 года, и это совсем не то «количество насилия», которое потребно в этой стране для совершения крупномасштабного поворота — к свободе ли, к тирании ли, возможно, это не так уж и важно в данном случае.

По всей видимости, История адаптирует и санкционирует тот выбор, который соответствует некоей скрытой от нас внутренней ее логике, если не

закономерности, то законосообразности. Выбор, не считающийся с этой логикой, выбор, осуществляемый самонадеянным субъектом, отмечается историей жестко и безапелляционно или трансформируется до неузнаваемости — примерам тому несть числа. Последний — горбачевская перестройка: обновление социализма как стержень реформаторской политики, как ответ на глобальный исторический вызов и масса вытекающих отсюда «выборов» более низкого уровня, вроде сохранения Союза путем общесоюзного референдума или создания псевдомногопартийной системы в тени и под присмотром породившей тоталитарное общество суперпартии.

Иными словами, в алгоритм исторического выбора заложен чудовищный разрыв между идеалом, целью, ценностями — и возможностями, результатом, следствием. Наш исторический опыт склоняет к пессимизму: почему столь часто в России осуществляется наихудший из возможных сценариев развития? Это легко констатировать, но не так легко объяснить. Вероятно, это связано с ролью насилия в российской истории. Чаще всего торжествовали те, кто не останавливался перед крайним насилием. Рефлектирующие либералы терпели поражение. При этом насилие получало социокультурную легитимацию, принималось массовым сознанием и даже выступало в известного рода ореоле. Возможно, это связано с логикой формирования единого геополитического пространства России, сшиваемого, стягиваемого воедино энергетикой власти, тканью властных технологий.

Поэтому исторический выбор в России — это не логика свободы, а логика власти. Те, кого насилие пугает, те, у кого оно вызывает отвращение, выбывают из числа «делающих историю». Условия диктуют те, кто не боится испачкать руки и имена соприкоснове-

нием с жесткими и часто одиозными технологиями власти.

Однако законосообразность истории — нечто, проявляющее себя лишь на чрезвычайно протяженном отрезке времени, а технологии власти являются фактором постоянного действия и в момент исторического выбора либо блокируют его, либо служат ему опорой.

Вероятно, в регионах мира, ранее нас вышедших на цивилизованный путь развития, существует определенная корреляция между технологиями власти и логикой исторического развития. В России же мы знаем немало примеров того, как выбор, презревший логику истории, как, например, большевистская революция 1917 года, сумел утвердить себя, поскольку опирался на существующие властные технологии, и более того, в процессе реализации избранного пути большевики сумели достроить технологическую пирамиду власти и превратить насилие в террор.

Это стало возможным потому, что власть и цивилизация (цивилизация в самом широком смысле слова, более широком, нежели вкладывал в него, скажем, Шпенглер) не работают вдоль одного вектора.

Автоматизм и случайность проявлений насилия присущи отнюдь не только тоталитарной системе, но и власти имперской. Случайное насилие спорадически фиксируется в наиболее конфликтные, жестокие, «смутные» периоды российской истории. Так, согласно рассказу одного из участников пугачевского восстания, после его разгрома многие бунтовщики были захвачены властями и привезены в Москву. «В Москве же, — свидетельствовал участник этих драматических событий, некто Верхоланцев, — не столь важных соучастников Пугачева казнили и вешали по жребию; а жребии были в виде билетов, надписанных:

“казнить, простить”, свернуты в трубки и перемешаны.

Мне достался жребий “простить” и несколько нагаечных ударов в спину».

Это еще далеко не сталинский стохастический террор, но тем не менее выдвижение на первый план весьма сходных технологий власти, призванных создать в обществе (или в каких-то его слоях) именно атмосферу страха и насилия и предотвратить всякую потенциальную возможность сопротивления.

Разумеется, «количество насилия» в обществе, даже если это общество рождено и сформировано насилем, не может оставаться постоянным. Мы сейчас часто говорим об эрозии насилия и импотенции власти и рассматриваем это как своего рода естественный процесс, некое возрастное изменение, что ли. Но мне кажется, что одной из причин подобной эрозии насилия стало то, что внутри самих структур власти появляются какие-то силы, в интересах которых уменьшение уровня насилия в обществе. Эрозия насилия определяется не силой сопротивления власти откуда-то извне этой власти, а базируется на интересах определенных групп, находящихся в структурах самой власти. Назовите их как угодно: бюрократией, партократией, номенклатурой, хоть, вслед за Касториадисом, стратократией, суть процесса от этого не изменится. Эти силы рассматривают беспредельное распространение насилия в обществе как угрозу себе и своему благополучию. И у них есть для этого основания — в сталинские времена сквозь ГУЛАГ прошла весьма значительная часть номенклатурных работников разного уровня и ранга. Когда эти силы получают возможность контролировать институты власти, они более или менее снижают уровень насилия в обществе — не столько ради общего блага, сколько ради

себя, в попытках отстоять свои групповые, корпоративные интересы.

Мне, например, кажется, что сознательно Хрущев никогда не делал ставку на насилие *как на фактор, консолидирующий систему и позволяющий ей воспроизводить самое себя*. Я это говорю, безусловно помня и о Новочеркасске, и о венгерской трагедии 1956 года, не говоря уже о том, что называют символическим насилием. Мне кажется, что драма Хрущева была аналогична драме многих нынешних демократов-реформаторов, да и коммунистов-обновленцев, первым среди которых следует назвать Горбачева. Хрущев оказался жертвой фатального и неизбежного разрыва между благими в основе своей намерениями и логикой действия системы, которая имеет страшную силу инерции и способна, очевидно, длительное время функционировать в автоматическом режиме, «игнорируя» любые усилия тех или иных пробившихся к рычагам власти реформаторов или «обновленцев». Человек, который после смерти Сталина сказал: «Все двери открыть к чертовой матери и всех невинных освободить»; человек, который говорил, что народу нужен гуляш, а не словеса бездельников пропагандистов и что «идеи Маркса хороши, но ежели их смазать свиным салом, то будут еще лучше»; человек, назвавший Сталина «сумасшедшим на троне», — такой человек никак не может быть поставлен в один ряд с крупнейшими насильниками всех времен и народов, как называют его предшественников. Более того, именно Хрущев придал легитимность той потребительской в своей основе парадигме, которая утвердилась позже, в период Брежнева, именно он стал разрушать официальный аскетизм, рассматривавшийся как основополагающая ценность системы. Не Хрущев применял насилие, хотя и в более или менее видоиз-

мененных по сравнению с насилием сталинским формам, — скорее насилие «применяло» Хрущева, втискивая его в логику действия системы.

Мне кажется, под-властное общество меняется интенсивнее, нежели сама власть, сама система. Под изменениями я подразумеваю не сопротивление власти и даже не накапливание *потенциала* этого сопротивления, то есть какой-то проступающей на поверхности политической жизни способности сопротивляться насилию; я имею в виду обретение людьми определенной внутренней свободы, точнее, того состояния, которое может быть названо свободой, будучи сравниваемо со страхом и несвободой сталинской эпохи, но, наверное, по большому счету свободой еще не являющееся.

Очевидно, что истоки этих процессов уходят еще в годы Отечественной войны, и это было зафиксировано наиболее пронизательными наблюдателями и мыслителями, эту войну прошедшими и пережившими. Затем этот процесс был прерван или почти прерван, возобновляется он лишь после смерти Сталина, когда, кстати, получает ряд импульсов извне: мне представляется, например, что Всемирный фестиваль молодежи 1957 года стал в этом отношении очень важной точкой отсчета. Я не застал сталинскую эпоху, и в то же время очень ясно, как помнятся только первые детские впечатления, помню основные исторические «узлы» хрущевской эпохи и, главное, реакцию на них «народа», во всяком случае в столице. Я думаю, общество, где стилиг высмеивали в модных песенках («Не поехал на Дальстрой, был пристроен медсестрой») и карикатурах «Юности», общество, где шеф КГБ перестал быть членом политбюро и где, в конце концов, мог появиться «Один день Ивана Денисовича», радикальным образом отличается от

советского общества эпохи первых пятилеток и «больших чисток». Это, кстати, было очень скоро отмечено наиболее внимательными западными аналитиками, которые имели опыт погружения в это общество и, следовательно, возможность сравнивать, — здесь можно вспомнить хотя бы известную книгу Клауса Менерта «Советский человек», вышедшую в 1958 году.

В годы застоя это чувство свободы было не то что загнано внутрь, подавлено; скорее, какие-то чисто потребительские интересы и ориентиры отодвигают его на второй план; именно они, а не чувство страха начинают доминировать в обществе, хотя страх, очевидно, не уходил из этого общества никогда. Если предположить, что нарастание духовной свободы, обретение этого состояния происходит дискретно, рывками, то последний, третий прорыв к свободе, осуществленный на волне горбачевской перестройки, но отнюдь не являвшийся целью этой перестройки, и доконал, извините за выражение, тоталитарную систему и, возможно, не потому, что это был «девятый вал» демократии, а потому, что он наложился на то, что у нас в последнее время часто называют называют импотенцией системы.

В принципе последний виток эволюции тоталитарной власти, переориентация ее террористической активности на природу, как об этом пишет В.А.Подорога, или, в более широком смысле, в ноосферу, должен означать агонию данного типа власти и смерть цивилизации — или же начало интенсивных реформаторских попыток, ставящих своей целью более или менее серьезную трансформацию этой власти.

Такого рода попыткой была инициированная Горбачевым перестройка. Я полагаю, что трагедия

перестройки заключалась в том, что гигантские общественные изменения чуть ли не впервые в российской истории пытались осуществить «сверху», не прибегая к насилию, во всяком случае к прямому, крупномасштабному физическому насилию (как это происходило, например, в Китае). И невозможность, нежелание обратиться к насилию для реализации весьма амбициозной программы политической, экономической, социальной модернизации России объяснялась, может быть, не столько благими намерениями и высокими личными качествами лидеров перестройки, сколько тем, что *объективно* основной исторической задачей — если хотите, *миссией* — перестройки было как раз *выведение насилия власти над обществом*, по крайней мере в тех формах, которые утвердились в сталинской тоталитарной системе, *за рамки этого общества*. А.А.Кара-Мурза много писал о *борьбе с варварством варварскими методами*. Можно согласиться с тем, что процесс вхождения в мировое сообщество после 1985 года имел много непривлекательных, «варварских» черт, но он уже не мог опираться на насилие в том его понимании, в каком речь могла идти о модернизационном насилии над обществом во времена Петра I.

Драма постперестройки, в сущности, та же: в основе ее лежит не ложный выбор и неправильная политика, не то, что власть приняла к реализации «не тот» проект или пакет экономических преобразований, скажем, французскую (или прусскую или еще какую) модель демократии вместо американской или тихоокеанской или уступила соблазну монетаризма, а тот трагический факт, что крутой исторический поворот, исторический выбор *без насилия, вне насилия* у нас в России пока еще невозможен, в лучшем, самом лучшем случае — проблематичен. А возможности выбора,

опирающегося на насилие, уже исчерпаны, если не фактически, то, во всяком случае, исторически, духовно.

Все сказанное, разумеется, не апология насилия, а констатация тех реальностей, которые становятся очевидными при анализе того, как складывается и что из себя представляет совокупность технологий власти, унаследованная нашим обществом.

Повторяю, исторический выбор, исторический поворот в современной России, как и на протяжении почти всей предшествующей истории, *все еще* невозможен без насилия — и *уже* невозможен с применением насилия, насилия власти над народом прежде всего.

Постскрипtum

Все очерки, собранные в этой книге, при всей мозаичности тем и сюжетов так или иначе касаются одного главного сюжета — *бытия власти*. Эта власть столь же неуловима и непостижима, сколь неодолима и вечна, и весьма нелегко определить, что есть власть и где есть власть... Ибо власть, будь то власть государственная или патриархальная, видимая или невидимая, воплощенная в назойливых, бесконечно тиражируемых символах или замершая во всех порах, «складках» общества, имеет тысячи ликов, множество масок и достаточно древнюю традицию мистификации общества; она улавливает человека, располагает его вдоль своих силовых линий, манипулирует им, опираясь на отработанные и постоянно видоизменяемые технологии властвования, но сама при этом ускользает от понимания, заставляя нас «видеть слова, а не механизмы власти» (В.А.Подорога).

Ленин на броневике; Муссолини на тракторе; российский президент на танке; Троцкий на капоте автомобиля, а позже и в шоферской кожанке; звучный «стальной» псевдоним Сосо Джугашвили; суровый маршал Жуков, водруженный, подобно Юрию Долгорукому, на монументального чугунного коня; принудительное приобщение *тех-кто-под-властью* к личным слабостям вождей, будь то охота, теннис, поэтическое творчество или трезвый образ жизни; ритуал публичного предъявления жен и детей политических лидеров народу; зрелище «наделения» властью на

съездах народных депутатов или сессиях Думы — все это репрезентация власти, но отнюдь не сама власть.

Те эйфорические состояния, в которые время от времени ввергает себя наше общество (вспомним хотя бы перестроечный энтузиазм, достигший апогея в 1988—1990 годах, а также всплеск эйфории после краха августовского путча 1991 года), показывают, что технологии власти и механизмы ее мистификации продолжают функционировать. Хотя за изменением расстановки сил в высших эшелонах власти («победное шествие перестройки») или за сменой одного политического режима другим («августовская революция») нелегко бывает различить преемственность, даже более чем преемственность — постоянство, непрерывность действия этих механизмов.

Власть есть нечто такое, что не может трансформироваться в мгновение ока. Власть — это не столько правительства, аппараты, словом, некоторая институциональная структура. Власть — это прежде всего совокупность технологий властвования, которыми, как невидимыми токами и силовыми линиями, пронизано общество; эти технологии складываются десятилетиями, если не столетиями, и не исчезают столь же стремительно, как памятники Свердлову или Дзержинскому, парткомы или университеты марксизма-ленинизма. Они по-прежнему способны настичь человека в любой точке его существования, разжижаясь в сфере частной жизни (в той мере, в какой человеку удастся оградить ее от вмешательства извне) и сгущаясь по мере приближения к институтам, самое назначение которых — быть средоточием технологий власти, то есть в школе, на работе, в больнице, в армии, в тюрьме... Страх обывателя, инерция мышления ученого, самоцензура писателя, доносительство доносителей и самодоносительство доносителей патологических — это все результат проникающей радиации невидимых,

безличных властных технологий. И когда говорят, что мы вступили или вступаем в период безвластия, то это верно лишь в том смысле, что некий видимый «центр власти», традиционное ее сосредоточение, стал утрачивать волю и способность к господству. Но несмотря на это, а может быть, именно поэтому каждый отдельный человек, обретая драгоценные крупинки свободы, одновременно становится все более зависимым от пресса власти; существование его становится все менее обеспеченным; он попадает в сферу действия все более жестких властных технологий.

С подобной триадой — ослабление центральной власти — «безвластие» — ужесточение безличных, невидимых, не эксплицируемых ни субъектом, ни объектом технологий власти — мы многократно сталкивались в российской истории. Как и со своеобразным циклом, когда эпоха блаженного самолюбования и самодовольства власти сменяется окрашенным в пуританские тона периодом консолидации под лозунгами наведения порядка, борьбы с коррупцией, распушенностью и разложением; последний, в свою очередь, прерывается полосой мягких, «либеральных» реформ, в которых власть заново стремится найти себя и обрести почву под ногами, — и все это завершается новым историческим изломом и переходом к самовластью. Проблема, впрочем, не в том, чтобы зафиксировать тот или иной исторический цикл, а в том, чтобы, учитывая горестный опыт, не отмахиваясь от него, как это было на протяжении десятилетий, попытаться найти какие-то реально действующие механизмы выхода из сложившейся ситуации, новые способы преодоления роковой исторической логики, прийти к пониманию власти и себя, *тех-кто-под-властью*, пониманию, очищенному от воздействия политических спекуляций и рентгеновского излучения самой власти.

Еще не так давно подобная задача не представлялась сверхсложной; тоталитаризм в духе старой просветительской традиции понимался как некая чисто искусственная преграда, за которой, как за нарисованной на холсте картинкой очага, скрывается разумный, справедливый, демократический мир и естественный экономический человек, столь же разумный и терпимый. Казалось, стоит только вспороть холст острым пером демократической публицистики, набравшей силу в условиях гласности, или проткнуть его кривым клювом российского двуглавого орла, вставить в замочную скважину золотой ключик с трехцветной ленточкой и повернуть его несколько раз, — и вот он, выход из кошмара, вот она, *vita nova*, новая для нас жизнь, которой уже давно живет весь цивилизованный мир по ту сторону двери...

Но за нарисованным очагом оказывается замочная скважина, но не оказывается двери; да и прорезь скважины чем-то напоминает знакомый социалистический контур — *серп-и-молот*; к тому же ключ не подходит; и главное, дверь надо искать где-то в другом месте, а скорее, вымазавшись с ног до головы, обливаясь потом и размазывая по лицу цементную пыль, кашляя и чертыхаясь, придется ломать стену (вселенская метафора тоталитаризма, наряду с «железным занавесом»), пробиваться наружу с оглушительным грохотом, невероятными усилиями, рискуя при этом, что потолок каморки папы Карло (гвоздь от портрета которого еще торчит в стене) обрушится и погребет под обломками искателей этого антитоталитарного антимира... Но все имеет конец, и когда-то стена оказывается низвергнутой, но за ней обнаруживается еще один нарисованный на холсте очаг... Метафора, возможно, покажется несколько пессимистической, однако она иллюстрирует ограниченность дилеммы «тоталитаризм — демократия», представлявшей собой

отнюдь не компонент некоего «нового мышления», а лишь инобытие марксистского исторического оптимизма, оптимизма, надо сказать, несколько детерминистского толка.

По всей видимости, наше общество обречено еще долго нести на себе печать не только тоталитарной власти, но и многовековой традиции деспотизма и насилия, выработавших соответствующие технологические структуры. За тяжким коммунистическим, «формационным», наследием проступают контуры иной, автохтонной традиции; за навязчивыми идеологемами проступают контуры жестких технологий властвования, формировавшихся чуть ли не со времен монгольского ига. И это постоянно ощущаемое «проклятие восточного наследия» (А.С.Панарин) подводит нас к мысли, что тоталитаризм не был для России лишь чем-то внешним, привнесенным из чуждой нам Европы, начавшей с идеалов равенства и братства и пришедшей к материализму гильотины; не был он и только лишь системой, навязанной России большевистскими вождями, «нахлобученной» ими на Россию; это было зло, но зло, истоки которого были связаны с российской традицией властвования. Как не были результатом неких субъективных «ошибок» провалы посттоталитарной эпохи типа чеченской войны или жестоких судорог власти в октябрьские дни 1993 года.

Именно поэтому (или прежде всего поэтому) мы и не находим за нарисованным очагом вожделенной двери — ни разу не открывавшаяся дверь срослась со стеной в единое целое, оставив нам лишь замочную скважину — *alter ego* ключа — как символ никогда не существовавшей свободы.

Примечания

Эссе о колбасе. — Первая публикация: «Независимая газета», 22 сентября 1993 г.

Дорога. Движение, пространство и время в России, Америке и СССР. — «Независимая газета», 24 ноября 1994 г.

Донос в России: опыт социально-философского исследования. — «Дружба народов», 1995, № 2.

Двери. — «Знамя», 1995, № 2.

Московские письма.

Сублиманты у власти: заметки о происхождении политической шизофрении. — «Архетип», 1995, № 1.

Россия. Конец века. Десублимация общества. — «Архетип», 1995, № 2.

Деррида и Солженицын. Деконструкция путешествия. — «Независимая газета», 17 сентября 1994 г.

Похвальное слово г-ну Жириновскому. — «Архетип», 1996, № 1.

Точки-в-хаосе. Микрособытие как квинтэссенция технологий власти. — «Архетип», 1996, № 2.

Время власти. — «Независимая газета», 13 февраля 1996 г.

Исторический выбор и насилие в России. — Выступление на круглом столе «Риск исторического выбора в России». — «Вопросы философии», 1994, № 5.

Все тексты публикуются с незначительными, чисто редакционными изменениями, за исключением очерков «Донос в России» и «Исторический выбор и насилие в России», которые по сравнению с журнальными публикациями существенно расширены и дополнены.

Донос в России

Художественный редактор А.Е. Смирнов
Корректор О.Е. Косова

ИБ № 20192

ЛР № 060775 от 25.02.92.

Подписано в печать 19.08.96

Формат 70x100 ¹/₃₂. Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Усл.печ.л. 0,72. Уч.изд.л. 8,07.

Тираж 1000 экз. Заказ № 52

С 029. Изд. № 49759.

ЗАО «Прогресс-Мультимедиа»

**Отпечатано в цехе оперативной полиграфии
с оригинал-макета, предоставленного автором.
119847, Москва, Zubovskiy bulvar, 17**

Сергей Алексеевич Королев
окончил МГУ им. М.В. Ломоносова,
кандидат исторических наук,
член Союза журналистов России.
Работает в Институте философии
Российской академии наук.
Публиковался в журналах «Знамя»,
«Дружба народов»,
«Вопросы философии»,
«Философские науки», «Архетип»,
в «Независимой газете»,
«Советской культуре»,
«Комсомольской правде».
Занимается проблемами
философии власти.